Геннадий Каган

ПРОРОК ВО ФРАКЕ

РУССКАЯ МИССИЯ
ТЕОДОРА ГЕРЦЛЯ

ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург • Москва

Геннадий Каган

ПРОРОК ВО ФРАКЕ

Gennadi E. Kagan

DER PROPHET IM FRACK

THEODOR HERZLS RUSSISCHE MISSION

Геннадий Каган

ПРОРОК ВО ФРАКЕ

РУССКАЯ МИССИЯ ТЕОДОРА ГЕРЦЛЯ

ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург•Москва
2005

Авторский перевод с немецкого

KULTUR Kontakt AUSTRIA

Издатели выражают признательность объединению "Культур/Контакт" (Вена) за содействие изданию этой книги.

Геннадий Каган
Пророк во фраке. - СПб.: ООО "Издательство "Лимбус Пресс", 2005. - 144 с.

Вождь мирового сионизма Теодор Герцль отправляется в Россию с целью склонить царское правительство надавить на Турцию, с тем чтобы та позволила рассеянным по свету евреям создать собственное государство в Палестине. Это позволило бы и самодержцу решить пресловутый еврейский вопрос. Однако "русская миссия" Герцля терпит роковую неудачу.

ISBN 5-8370-0392-4

© Gennadi E. Kagan, 2003
© Геннадий Каган, перевод / ООО "Издательство "Лимбус Пресс", 2005
© А. Веселов, оформление / ООО "Издательство "Лимбус Пресс", 2005
© Оригинал-макет / ООО "Издательство "Лимбус Пресс", 2005

ПАРАДОКС ГЕРЦЛЯ

Вместо предисловия

Миссия, вопреки отчаянному сопротивлению собственных соратников из рядов сионистского движения, приведшая Теодора Герцля в Санкт-Петербург летом 1903 года, закончилась неудачей. Его попытки облегчить отчаянное положение русского еврейства и побудить Николая II надавить на Турцию, с тем чтобы та передала евреям Палестину, оказались тщетными. Сейчас, сто два года спустя, имеет смысл поразмышлять над тем, к каким последствиям для мирового еврейства, да, не исключено, и для судеб всего мира, могло бы привести принятие русским самодержцем предложений вождя сионизма.

Если бы миссия Теодора Герцля увенчалась успехом и Николай II дал бы ему аудиенцию (как за пятьдесят семь лет до того, в марте 1846-го, Николай I принял баронета и члена Верховного суда Лондона Моисея Монтефиори, крупнейшего еврейского филантропа своего времени, превосходившего щедростью самих Ротшильдов) и русское правительство приняло бы его план, инициировав процесс легального исхода пятимиллионного российского еврейства в Палестину, какие бы это имело последствия для России и не только для нее? Возможно, процесс исхода затронул бы и западноевропейское еврейство — английское, французское и немецкое, — обретя финансовую поддержку как частных меценатов, так и правительств соответствующих держав, поскольку еврейский вопрос представлял собой определенную проблему и для них. Уже в 1904 году или, самое позднее, год-другой спустя, в Палестине могло на законных основаниях возникнуть независимое еврейское государство. Извечная мечта пребывающего в двухтысячелетнем рассеянии народа могла бы воплотиться уже в начале XX века. Неколебимая уверенность Герцля в том, что еврейский вопрос можно

решить лишь путем создания собственного государства, как это изложено в его трактате "Еврейское государство" и в социально-утопическом романе "Древняя новая родина", сразу же перестала бы казаться пустой фантазией.

Однако продолжим пусть и несколько рискованные занятия историей в сослагательном наклонении. Разве трудно допустить, что еврейское государство лет этак через десять после своего основания смогло бы предъявить миру существенные результаты, прежде всего в хозяйственной и финансовой сфере, где оно могло бы опереться на многовековые международные связи, но также в области политики, науки и культуры. Разумеется, следует исходить из того, что мудрое руководство государства сумело бы сохранить мир с ближайшими соседями, прежде всего, с арабским населением Палестины.

При подобном развитии событий, предположим мы далее, существенные метаморфозы претерпела бы европейская политика, хотя исход евреев и оказался бы для ряда стран весьма существенным кровопусканием. Но еврейский вопрос утратил бы всякую остроту — повсюду и, прежде всего, в России. Еврейский паразитизм, о котором без устали твердила и твердит юдофобская пресса, оказался бы тем самым раз навсегда перечеркнут. Евреи вышли бы из навязанной им роли мальчиков для битья, которых традиционно винят во всех бедах и несчастьях. На территории Палестины возникло бы мирное еврейское государство, с которым европейские державы (независимо от конкретных геополитических интересов каждой из них) поддерживали бы прежде всего торговые отношения. Рискнем заметить, что подобное развитие событий заметно смягчило бы трения и внешнеполитическое соперничество между европейскими державами — причем в такой степени, что постепенное смягчение нравов и атмосфера всеобщего доверия просто не позволили бы прогреметь роковому выстрелу в Сараево. А значит, не началась бы Первая мировая война! Германии не пришлось бы терпеть версальское унижение, а Россию не потрясла бы Октябрьская революция с ее общеизвестными и выходящими далеко за европейские рамки последствиями. В Германии тем самым оказался бы выбит главный козырь из рук у национал-социалистов, а в России в рамках поэтапной демократизации возникла бы конституционная монархия. Вслед за выпадением из исторического процесса первой мировой войны не разгорелась бы и вторая; мир не узнал бы ужасов холокоста и "большого террора".

И теория Герцля, которую многие сто лет назад считали утопией или просто блажью, доказала свою жизненность — в отличие от многих идеологий, фатально скомпрометированных в ходе двадцатого столетия.

Если бы русский царь летом 1903 года принял и выслушал Герцля, если бы проявил мудрость и понимание в оценке его планов, многое из того, что мы сейчас излагаем в сослагательном наклонении, можно было бы написать в изъявительном. И наш мир был бы сейчас во многих отношениях лучше, чем теперешний, он стал бы тем чуть ли не идеальным миром, о котором мечтал Теодор Герцль. Но Николай II рассудил по-другому, Россия оказалась ввергнута в хаос, а с ней и весь мир. Да и кто когда прислушивается к пророческим прорицаниям?

Летний день. Самое начало августа 1903-го. По улицам Вены в сторону вокзала Франца-Иосифа катит фиакр. Завидев седока во фраке, в белых перчатках и в цилиндре, уличные зеваки окликают его: "Луегер! Луегер!". Однако они ошибаются: в коляске сидит вовсе не бургомистр имперской столицы Луегер, а венский литератор и фельетонист Теодор Герцль, которого насмешливый Карл Краус прозвал (а остряки из кофеен подхватили и повторяют) "еврейским царем". Произошло это после того, как семь лет назад, в 1896-м, Герцль выпустил трактат "Еврейское государство", в котором предложил отвечающее, на его взгляд, духу времени решение пресловутого еврейского вопроса.

Герцль отправился в свое последнее длительное странствие — в Россию со столицей в Санкт-Петербурге, где ему и предстояли судьбоносные встречи, — а за столиками кофеен по всему Старому Городу — от Грабена до Херренгассе — люди ухмылялись, передавая из рук в руки и разглядывая карикатуру на него и читая эпиграмму, сочиненную неким Юлиусом Бауэром:

Он видит цель, она манит
во сне и наяву:
"В семитском царстве я, семит,
отменно заживу!"

Сарказм и сатира были в тогдашней Вене, пожалуй, еще самыми безобидными проявлениями антисемитизма. Столица империи была в этом отношении не просто точным слепком с

того, как обстояли дела во всей Какании*; здесь, в Вене, чисто по-австрийски парадоксально совмещались и фокусировались абсолютно несочетаемые понятия: благодушие, даже веселье, — и постоянный страх перед смертью, терпимость — и ксенофобия. С кислой миной терпели австрийцы чехов, словаков, боснийцев и других недобровольных подданных габсбургской монархии, понемногу и нехотя растворяя их в плавильном котле столицы. Что же касается двухсоттысячного венского еврейства, значительная часть которого — шестьдесят тысяч человек — ютилась на так называемом Мацовом острове между Дунайским каналом и Вурстльпратером, то городские массы относились к нему с неприязнью, сплошь и рядом перерастающей в острую ненависть. И все же в Вене, как и во всех европейских столицах, имелась прослойка образованных и богатых евреев, и ее здесь, самое меньшее, уважали. Одни евреи были не чета другим евреям — так это понималось в самой прослойке и уж тем более в среде записных венских патриотов, которые пусть и воротили нос, отвечая на приветствие какого-нибудь правоверного иудея, но с благодарностью подписывали ему вексель на сумму, необходимую, например, для покупки собственного экипажа, с тем чтобы раскатывать по Рингштрассе или по аллеям Пратера.

Именно из Вены и шагнул некогда в большой мир уже четверть века обитающий здесь будапештский еврей Теодор Герцль. Для этого ему, правда, понадобилось сначала закончить юридический факультет Венского университета, а затем поработать делопроизводителем в зальцбургском окружном суде. Шагнул в большой мир, представлявшийся ему прежде всего своего рода подмостками, которые он постепенно заполнял персонажами идущих с переменным успехом театральных пьес собственного сочинения и колонками фельетонов в широко читаемой и уважаемой в Вене "Новой свободной прессе". После того, как Герцль доказал свое журналистское мастерство путевыми очерками, опубликованными в ряде других периодических изданий, "Новая свободная пресса" на несколько лет послала его собственным корреспондентом во Францию.

---

* Какания — ироническое название Австро-Венгерской империи.

Как знать, может быть, именно впечатления от захлестнувшей весь Париж антисемитской истерии заставили Герцля, выросшего в среде крупнобуржуазного и просвещенного будапештского еврейства, обратиться к пресловутому еврейскому вопросу, задуматься о путях его разрешения и в конце концов превратить это в дело всей своей жизни? Конечно же, не только они, потому что еще студентом в Вене он наверняка должен был столкнуться с проявлениями антисемитизма, прежде всего в так называемых студенческих союзах, в которых к евреям относились с откровенной враждебностью. Да и жидом его, случалось, обзывали — как однажды в Майнце, в Германии, когда он заглянул в тамошний ресторанчик. Несомненно, однако же, парижские впечатления, наряду с уже накопленным горьким опытом, сыграли существенную роль и послужили своего рода детонатором, положив начало всему, что последовало за ними. И уже никому и ничему было не столкнуть Герцля с раз и навсегда избранной стези. Начав с первых набросков к трактату "Еврейское государство", он впоследствии созвал Первый всемирный сионистский конгресс в Базеле, вслед за которым только при жизни учредителя один за другим прошли еще пять, и предпринял квазидипломатические усилия на всем пространстве от Великобритании до России, выступая от имени набирающего силу сионистского движения европейских евреев и требуя предоставить им территорию, которая могла бы стать для них новой родиной, — поначалу будучи готов обрести ее хоть за далекими морями, но в конце концов — в соответствии с никогда не затихавшими двухтысячелетними чаяниями еврейства — возжаждав возвращения на историческую родину, на священную землю предков, в Палестину. С течением времени оказались отброшены ранние сентиментальные или утопические идеи — вроде, например, такой, чтобы побудить венских евреев к массовому крещению в соборе Св. Стефана, с тем чтобы решить еврейский вопрос хотя бы на уровне одной отдельно взятой страны.

Что это, однако, означает: квазидипломатические усилия? Большой словарь Мейера как раз того же 1903 года издания сообщает, что слово "дипломат" изначально означало "человек, изготов-

ляющий дипломы", а впоследствии приобрело значение "человек, представляющий в международных отношениях интересы той или иной страны..." Однако, сказано далее в словаре, выражения "дипломат" и "дипломатический" нередко употребляются в переносном смысле, чтобы охарактеризовать действия, похожие на поведение дипломатов в строгом смысле слова.

В 1903 году было еще долго ждать возникновения государства, интересы которого на международной арене мог бы представлять Герцль. Имелся лишь проживающий в двухтысячелетнем рассеянии по континентам народ, большая часть которого — свыше пяти миллионов человек — обитала в России. Придать этому народу собственный голос, пробудить его национальное самосознание и в первую очередь идентичность, снабдить слабое, разрозненное и сплошь и рядом окрашенное чисто религиозно сионистское движение новым — политическим — звучанием, — было воистину титанической задачей, которую и поставил перед собой и перед еврейством Герцль — сперва изданием в 1897 году своего трактата, а затем — созывом с периодичностью раз в два года всемирных сионистских конгрессов. Однако создания еврейского государства, обладающего собственной территорией, собственным общественно-правовым статусом и на долгосрочной основе снабженного международными гарантиями, как это оказалось сформулировано в Базельской программе, одними только конгрессами было не добиться. Пришлось создать централизованную организацию под единым руководством и с еврейским национальным фондом в качестве финансовой базы. А такой поворот событий предполагал предварительные переговоры самого жесткого и изнурительного свойства с властями великих европейских держав и, не в последнюю очередь, Турции, султан которой Абдул-Хамид II владычил, наряду с прочим, и над Палестиной, в 1840 году переданной Османской империи при непосредственном содействии Англии и Франции в ходе именно дипломатических переговоров. Кому же как не Теодору Герцлю — выразителю интересов и общепризнанному лидеру сионистского движения — на роду было написано взять на себя эту миссию? Миссию, вдвойне трудную и противоречивую, потому что уговорить предстояло не только

власти великих держав, не только Турцию, но и самих европейских евреев, немалая часть которых твердо решила ничего не предпринимать до обещанного в Библии прихода мессии, тогда как другая часть — и тоже значительная — питала тщетную иллюзию полностью ассимилироваться в стране (или странах) своего тогдашнего пребывания.

"Господин доктор, а что вы, вообще говоря, имеете против сионизма?"

"По большому счету — ничего. Но пара-тройка возражений имеется. Во-первых, почему вы остановились именно на Палестине? На севере там болотная топь, на юге — пустыня. Неужели нельзя было подыскать страну поприветливее? Во-вторых, почему вам хочется во что бы то ни стало разговаривать там на мертвом языке, на иврите? И, в-третьих, почему вы избрали не кого-нибудь, а евреев? Есть народы куда более симпатичные".

Так звучал один из самых популярных еврейских анекдотов той поры. А еще семьдесят лет спустя немецкий писатель Арно Шмидт опубликовал многотомную эпопею "Греза Цеттеля", в которой повествуется еще об одном еврейском замысле, чуть было не осуществленном в заокеанской Америке в те далекие времена, когда еще не было изобретено само понятие "сионизм":

"...Некий еврей по имени М. М. Ной (ну конечно же — Ной, как в Библии!) в 1822 году обратился к городской администрации Нью-Йорка с просьбой подарить ему большой остров в окрестностях Ниагарского водопада, с тем чтобы он смог организовать там колонию для европейских евреев. Так оно и произошло, правда, остров Ною со товарищи не подарили, а продали. Здесь Ной основал еврейский город, провозгласил американский Израиль, объявил себя Верховным Судией, облачился в одежды первосвященника и обратился с воззванием к рассеянным по всему свету евреям, приглашая их переселиться на остров, которому предстояло стать новой Святой Землею. Парижского раввина и еще несколько представителей международного раввината он назначил сборщиками налогов. Ну и что же из этого вышло? Ной не дождался ни налоговых поступлений, ни евреев. И поневоле вернулся к своему всегдашнему занятию — к журналистике".

Тоже анекдот? Еврейский или антисемитский? Как бы то ни было, даже если отвлечься от того, что легендарный Ной подобно вполне историческому Герцлю был профессиональным журналистом и к тому же отчаянным мечтателем, факт остается фактом: задолго до возникновения понятия "сионизм", впервые введенного в 1890 году уроженцем Вены Натаном Бирнбаумом, предпринимались многочисленные попытки введения еврейского самоуправления в тех или иных местах. В том числе, и откровенно курьезные.

Еще не опубликовав трактат "Еврейское государство" и задолго перед тем, как ему удалось созвать первый конгресс сионистов в Базеле, Герцль предпринимал попытки заинтересовать влиятельных европейских евреев (и в первую очередь, разумеется, знаменитости) своими идеями. Квазидипломатическими усилиями эти попытки, впрочем, еще не были. Обращался Герцль еще не к государям и президентам, а к парижским банкирам и промышленным магнатам барону Морицу фон Хиршу и барону Эдмону де Ротшильду. Последний был представителем разветвленной и могущественной финансовой династии. Обоим этим филантропам, скупавшим участки в Аргентине и в Палестине и раздававшим тамошние земли еврейским колонистам, Герцль, пустив в ход все свое красноречие, внушал: всемирное еврейство нуждается не в благотворительности, плодящей попрошаек и пессимистов, а в едином политическом руководстве, которое помогло бы ему осознать национальную идентичность и взять собственную судьбу в свои руки.

Его принимали и слушали, с трудом скрывая пренебрежительную усмешку. Уж этот Герцль! Мечтатель, фантазер, утопист... И как неслыханная наглость было воспринято его заключительное высказывание: "Я обращусь к германскому императору, и он меня поймет, потому что его воспитывали и готовили именно так, чтобы он умел оценивать по справедливости великие замыслы!" Что ж, любезнейший, отвечали Герцлю, попытка не пытка.

И Герцль предпринял попытку. И не одну. На протяжении нескольких лет вслед за этим он, строго говоря, дилетант, поневоле осваивал дипломатическое искусство; learning by doing, как выражаются прагматики англичане. Он ездил и в Париж, и в

Лондон, и в Константинополь, и в Иерусалим, во имя сионизма и в интересах еврейского государства, которому еще только предстояло возникнуть, он вел переговоры с английскими министрами и турецкими пашами. И в конце концов его и впрямь удостоил аудиенции германский император Вильгельм II, правда, не в Берлине, а в императорском шатре, разбитом у ворот Иерусалима. Ведь и германский кайзер был заядлым путешественником. Правильно оценивая перспективы немецкого влияния на Турцию – "босфорского больного", как ее тогда называли, – и заинтересованность Германии в расширении рынка сбыта немецких товаров на Востоке, Герцль надеялся заручиться долгосрочной поддержкой своих палестинских планов со стороны Вильгельма. О том, как сильно он тогда уповал на кайзера и – еще с времен будапештской юности – восхищался немецкой культурой, а значит, и Германией как таковой, свидетельствует одна из его дневниковых записей соответствующего периода: "Если евреи окажутся под германским протекторатом, то влияние этой огромной, могущественной, великолепно управляемой и строго организованной страны на еврейский национальный характер окажется в высшей степени оздоровляющим". Заблуждение! И еще поразительнее поэтически возвышенное описание личности Вильгельма II в образе просвещенного монарха в заметках Герцля, написанных по итогам аудиенции: "Император произвел на меня сильное и глубокое впечатление. Позже я попытался облечь это впечатление в форму поэтической метафоры и сумел найти лишь такую: мне показалось, будто я попал в волшебный лес и повстречался там со сказочным единорогом. Внезапно он предстал передо мной во всем своем великолепии с грозным для любого недруга рогом. Но еще большее впечатление произвел на меня тот факт, что этот легендарный зверь оказался полон жизни. Его образ я представлял себе и заранее – тем поразительнее оказалась встреча с ним во плоти. И мое изумление только усилилось, когда единорог вдруг заговорил человеческим голосом, и это был голос друга, и произнес он следующее: "Да, я и есть тот самый единорог!" Увы, на самом деле приятие "единорогом" еврейского просителя и понимание им самой просьбы было, мягко говоря, ограниченным.

Да и лорды-либералы из английского правительства, не говоря уж о турецких пашах, внимательно выслушав Герцля, отвечали ему туманно, сдержанно и с оглядкой, хоть и позволяли себе время от времени проявить определенную заинтересованность. И даже данные обещания каждый раз рано или поздно лопались подобно мыльным пузырям. Во-первых, Герцлю при всем проявленном им дипломатическом искусстве так и не удалось сыграть на разноречивых, а сплошь и рядом и взаимопротиворечащих восточных интересах великих европейских держав; во-вторых, он не сумел заручиться мало-мальски серьезной поддержкой хотя бы одной из них. Никто не указывал ему на порог, его самым внимательным образом выслушивали, но всякий раз как бы не принимая всерьез, ища не взаимопонимания, но отговорок, и пребывая в убеждении, что уж в собственной-то стране пресловутый еврейский вопрос прекрасно поддается тому или иному решению и без его помощи. Правда, кое-где — и прежде всего в Англии — Герцлю вроде бы можно было рассчитывать на влиятельные еврейские круги, но их представители — точь-в-точь как некогда парижские бароны Хирш и Ротшильд — выступали за эмансипацию еврейства с последующей ассимиляцией и считали проповедника идей сионизма бесплодным мечтателем и политическим фантазером. Так что Герцлю порой случалось прибыть на сионистский конгресс с пустыми руками — а тут его поджидали идеологические противники из собственных рядов, ратующие за "чистый" сионизм и рассматривающие грядущую еврейскую Палестину прежде всего как духовный и культурный центр мирового еврейства, равно как и священное место, где следует ожидать явления мессии. Что же касается альтернативных территорий для построения еврейского государства — таких как Кипр, Синайский полуостров или восточно-африканская Уганда, — о которых в разговорах с Герцлем и в последующей томительно-неторопливой переписке с ним порой упоминали англичане, то "чистые" сионисты об этом и слышать не хотели.

Так что же, Герцль потерпел полное и безоговорочное поражение? Сбылось то, что с самого начала предрекали его противники как в самом сионистском движении, так и вне его? В дневнике

Герцля за май 1903-го есть запись, посвященная краху обсуждавшегося ранее с англичанами Синайского проекта: "Синайское дело я считал уже в такой степени свершившимся, что даже отказался от приобретения участка на кладбище в Дёблинге, рядом с могилой отца. А сейчас я разочаровался настолько, что, отправившись в тамошний муниципалитет, приобрел для себя могилу № 28".

Неужели он столь свято верил в успех своих переговоров с английским правительством, что надеялся перенести прах родных на новую родину и, может быть, найти последнее упокоение самому там, где, по его представлениям, должно было возникнуть свободное и независимое еврейское государство? Как знать... Так или иначе, эта надежда во всей ее эвентуальной серьезности была до поры до времени развеяна, как, впрочем, и остальные его чаяния, связанные с великими европейскими державами, посредничество которых представлялось необходимым для того, чтобы связать разрозненные нити оседлого еврейства, — взять хоть тех же Ротшильдов с банкирскими домами в Вене, Лондоне и Париже.

У стороннего наблюдателя могло сложиться впечатление, будто дипломатическая миссия Герцля оказалась тем самым исчерпана. Однако на самом деле всё только начиналось! Потому что на европейской обочине находилось государство, славное не только необъятностью, — и взгляд Герцля был прикован к нему крепче, чем когда-либо прежде. Царская Россия со своим многомиллионным еврейством, кое-как выживающим в условиях угнетения и слепой ненависти и в массовом порядке — на пути в Америку — выплескивающимся в Западную Европу.

И если еврейский вопрос для кого-нибудь был не просто актуальным, но буквально кричащим и кровоточащим, то такими людьми, несомненно, слыли российский самодержец и его министры. И кому, как не им, надлежало проявить жгучий интерес к окончательному решению еврейского вопроса?

Эхо крупнейшего на тот момент кишиневского погрома прокатилось весной 1903 года по всей Европе.

6 апреля 1903 года, в пасхальное воскресенье, знаменующее для православных окончание Великого Поста и совпавшее в том году с окончанием еврейского религиозного праздника

Песах, толпы пьяных молодчиков собрались на ярмарочной площади в Кишиневе, главном городе Бессарабской губернии, и отправились оттуда громить еврейские дома и лавки. Пьяные погромщики, будучи твердо убеждены в том, что их действия угодны царю, бесчинствовали в городе двое суток не щадя ни имущества, ни людей. Мебель из еврейских квартир вышвыривали из окон на улицу, на которой, казалось, шел снег — столько пуха и перьев из подушек и одеял реяло в воздухе. Из окон выкидывали, согласно позднейшим сообщениям, и грудных детей. Женщин насиловали, мужчинам отрубали головы. За два пасхальных дня разбушевавшаяся чернь убила сорок три еврея (мужчин, женщин и детей), разграбила и частично сожгла семьсот жилых домов и шестьсот лавок, что же касается числа пострадавших с телесными повреждениями особой и средней тяжести, то оно составило четыреста девяносто пять человек. Меж тем губернатор и городское чиновничество, ни во что не вмешиваясь, праздновали Пасху. А когда полиция и армия предприняли некоторые усилия по наведению порядка и арестовали несколько десятков наиболее неугомонных погромщиков, произошло это со столь издевательским запозданием, что "спасенные" приветсвовали "спасителей" плачем и стенаниями, потому что на еврейским улочках уже не жили, а только оплакивали разорение и смерть.

О предстоящем погроме в Кишиневе загодя перешептывались несколько недель, и многие православные в порядке профилактики метили стены собственных домов крестами. В местной юдофобской прессе мусолили тему ритуального убийства русского мальчика, якобы совершенного евреями; из рук в руки передавали антисемитское воззвание, имя автора которого так навсегда и осталось тайной: "...Поэтому, братья, во имя Спасителя нашего, пролившего за нас Свою драгоценную кровь, и во имя православного государя нашего, батюшки-царя, пекущегося о возлюбленных чадах своих, возгласим в день святого праздника: "Бей жидов!" и бесстрашно и весело примемся за дело, уничтожая этих уродов, этих кровопийц, вновь и вновь алчущих русской крови! Вспомним об одесском погроме — там армия пришла на помощь народу. Так оно будет и у нас, потому что наше воин-

ство православное и жидов в нем нет. Присоединяйтесь к нам — и общими силами обрушимся на грязных жидов..."

Никто в России не воспринял всерьез эти угрозы — или не захотел воспринять, — ни в кишиневских кабинетах, ни в санкт-петербургских. Хотя в столице наверняка знали о взрывоопасной ситуации, сложившейся в главном городе Бессарабии, не зря же ела свой хлеб прекрасно организованная и надзирающая за всей страной полиция, в особенности — тайная.

Герцль был убежден в том, что, с оглядкой на такое положение дел в России, здесь ему может удасться то, в чем ему до сих пор отказывали власти западноевропейских держав. Лишь бы повезло в том, чтобы убедить Николая II в непреложном факте: интересы сионистов и русского правительства фундаментально совпадают как минимум в одном пункте. Потому что организованная и отрегулированная российским государством массовая эмиграция евреев помогла бы нормализовать русско-еврейские взаимоотношения, драматически осложнившиеся еще встарь. А для достижения этой цели России следовало всего-навсего посильнее надавить на Турцию, с тем чтобы она изъявила готовность открыть малозаселенную территорию Палестины для массового (а не ограниченного частными инициативами меценатов вроде семейства Ротшильдов, как до сих пор) въезда еврейских иммигрантов.

А осознавал ли Герцль, что там, в Палестине, пусть и на малозаселенной территории, уже живут арабы, для которых основание еврейских поселений, а в конечном итоге — и еврейского государства, будет означать насильственное вытеснение с собственных земель?

В 1902 году Герцль выпустил программный роман "Древняя новая родина", в котором облек в беллетристическую форму свое видение грядущего еврейского государства. В романе вопрос об арабах хотя и затронут, но решение предложено утопическое, чуть ли не сказочное, в духе Гаруна аль-Рашида из "Тысячи и одной ночи". На страницах романа один из персонажей — представитель проникнутого духом терпимости космополитического еврейства — спрашивает у некоего араба: "А разве въезд евреев не разорил и не уничтожил арабское население Палестины? Разве

арабам не пришлось спасаться бегством?" И слышит в ответ: "Разве вы назовете разбойником того, кто ничего не отнимает у вас, а, напротив, только дает. Евреи обогатили нас, так почему бы нам их не любить?"

Как уже указано, роман был утопическим, и действие его разворачивалось в относительно далеком будущем — в 1923 году. И представлял собой попытку облечь мечты и видения Герцля в литературную форму. Разумеется, сочиняя роман и обращаясь к своим приверженцам со словами: "Стоит вам захотеть — и эта сказка станет явью!", — он не знал и даже не догадывался о том, в сколь жестокое противоречие с палестинской реальностью войдут прекраснодушные постулаты.

А пока суд да дело, он решил целиком и полностью положиться на российское правительство, на могущество царизма, представлявшегося ему единственным игроком на мировой политической арене, способным в обозримом будущем добиться от турецкого султана ощутимых результатов. При этом он не в последнюю очередь уповал на жалкое состояние турецких финансов. Казна Оттоманской империи безнадежно опустела еще в середине девятнадцатого столетия в ходе Крымской войны, Турция оказалась вынуждена брать все новые и новые займы у Запада. При поддержке русского царя, надеялся Герцль, ему удастся вынудить султана пойти на послабления въездного режима в Палестину в обмен на существенные финансовые уступки. При этом Герцль рассчитывал на Еврейский национальный фонд, на пока небольшой, но стремительно растущий Еврейский колониальный банк в Лондоне, на поддержку венских, парижских и лондонских Ротшильдов и прежде всего на чрезвычайно богатое и влиятельное английское еврейство как таковое, пусть оно до поры до времени и воспринимало исповедуемый и проповедуемый Герцлем политический сионизм с крайним скепсисом, а то и с откровенной враждебностью. Однако стоит русскому самодержцу высказаться недвусмысленно и, может быть, скрепить свои слова печатью с двуглавым орлом, думал Герцль, и все это недоверие как ветром сдует. А значит, появится возможность рано или поздно откупить у отягощенной французскими и английскими долгами Турции Палестину.

Еще в мае 1899 года Герцль ездил в Гаагу, где проводилась конференция по миру и разоружению, поводом для созыва которой стал вдохновляющий манифест русского царя. В гаагских парках цвели деревья. Природа праздновала начало нового жизненного цикла. Однако в конференц-залах делегаты шипели друг на друга и чуть ли не дрались, как будто там собрались не европейские дипломаты, а члены какой-нибудь еврейской мишпохи.

Герцль надеялся на то, что в Гааге ему удастся вступить в контакт с полномочным представителем Российской империи. Однако и руководитель российской делегации, и полномочные представители других европейских правительств соизволили вежливо выслушать его, но никак не более. Какова бы ни была точка зрения того или иного дипломата на пресловутый еврейский вопрос, обязывающих высказываний не позволил себе никто. И все же (и как раз это служило для Герцля доказательством того, что его поездка в Гаагу оказалась успешной) ему удалось напомнить о себе и о своих планах государственным деятелям Европы; и к нему как к эмиссару еврейства и лидеру политического сионизма отнеслись если не с пониманием, то с уважением. Правда, его нижайшая просьба об аудиенции у Николая II, переданная через руководителя российской делегации, была всего-навсего принята к сведению, причем дипломат полупрезрительно пожал плечами. Ни ответа, ни обещания, не говоря уж о гарантиях, Герцлю не дали. Поэтому в ноябре того же года он обратился уже к самому Николаю II с меморандумом, в котором обрисовал цели сионистского движения и нижайше попросил об аудиенции, с тем чтобы получить возможность изложить государю собственное видение решения еврейского вопроса при личной встрече. Меморандум был проникнут верой в значение собственной миссии и в непреложность исторического прогресса и заканчивался он нижеследующей вдохновенной тирадой:

"Мы живем на заре нового века. Чудеса научного и технического прогресса готовят почву для улучшения природы самого человека. Мы уже видим, сколь озабочены могущественные правители мира исправлением общего политического климата и устранением злокачественных международных проблем. Национальный вопрос стоит по-прежнему остро, но относятся к нему с куда

большим пониманием и великодушием, чем в любую из прежних исторических эпох. Поэтому просыпается надежда и на то, что в наше время удастся решить вековечный еврейский вопрос. И это решение приведет к укреплению верноподданнических чувств и, соответственно, к ослаблению бунтарских настроений. И затерянный на Востоке клочок земли обретет новую жизнь и воистину расцветет, если многострадальному народу наконец предоставят там место для спокойного и оседлого развития собственных способностей. И, возможно, этот замысел заслуживает того, чтобы его поддержали самые величественные и благородные из числа живущих на свете. Потому что его воплощение в жизнь станет триумфом подлинного человеколюбия и всего человечества".

Однако за исключением чисто формального сообщения о том, что меморандум принят к августейшему сведению (доказательства чего, впрочем, так и не были представлены), Петербург безмолвствовал.

Здесь самое время привести краткий исторический очерк положения дел с евреями в царской России.

История российского еврейства восходит к первой половине восемнадцатого столетия. Вытесненные из Испании и Португалии, евреи все в больших количествах появлялись то здесь, то там во всей Европе и добирались до владений российского императора. Поначалу они появились в черноморских областях России, где занялись в основном оптовой и розничной торговлей, хотя пробовали свои силы также в виноградарстве и виноделии. Менее чем через сто лет повесть о тамошних нищете, несчастьях и всевозможных притеснениях оказалась уже очень длинной. Отличающиеся от коренного населения нравами и обычаями, исповедующие другую религию и постоянно шельмуемые православным духовенством как убийцы Христа и носители на челе каиновой печати, евреи воспринимались самим царем, его окружением, чиновничеством, да и просто высшими слоями общества как чужеродное тело в организме. Так же, впрочем, в царской России относились и к другим этническим меньшинствам, но еврейская доля была самой тяжелой. А еще за два столетия до того, как еврейский приток в Россию стал массовым, царь Иван IV, по

справедливости названный Грозным, так охарактеризовал ситуацию с евреями в письме польскому королю:

"В своем письме ты выражаешь желание, чтобы мы разрешили твоим жидам жить на нашей земле и беспрепятственно разъезжать по ней. Мы ведь уже многажды касались данного дела. И сообщали тебе об опасной деятельности жидов, отвращающих православных от Господа нашего, ввозящих к нам яды и отравы и творящих множество других несчастий нашим подданным. Тебе, брат наш, следовало бы постыдиться, прежде чем обращаться к нам с таким пожеланием, потому что ты знаешь об их мерзости не понаслышке. Да и в других государствах от них сплошные напасти; поэтому-то их и казнят, поэтому-то отовсюду и гонят. Мы не можем допустить жидов в нашу страну, потому что нам не нужны новые беды. Мы хотим, чтобы Господь Бог позволил нашим подданным на нашей земле жить в мире и спокойствии и не будучи никем и ничем искушаемы. Так что, брат наш, впредь не ратуй за жидов в своих грамотах".

А в год царствования Екатерины II, когда евреи уже давным-давно проникли на территорию европейской части России, величайший поэт XVIII века Гаврила Державин высказался в письменной форме следующим образом: "Отдавая должное как древним, так и современным воззрениям на жидов, позволю себе изъяснить и собственное мнение: синагоги — это ничто иное как цитадели суеверья и обращенной в сторону всех христиан ненависти. Еврейские кагалы представляют собой государство в государстве, категорически не терпящее разумного общественного устройства. Залоги, ссуды, ростовщичество, торговля и все прочие виды еврейского предпринимательства по сути дела являются хитроумными и коварными уловками, преследующими единственную цель, — под предлогом заботы о хлебе насущном и желания якобы помочь тому или иному человеку в расчете на неизбежную благодарность завладеть всем его имуществом и состоянием".

С оглядкой на эту более чем вековую враждебность по отношению к еврейству, едва ли не проявлением висельного юмора со стороны Истории выглядит тот факт, что именно благодаря захватнической политике царей на западном и юго-западном направлении к концу XVIII века (после окончательного раздела

Польши и включения ее значительной части, наряду и наравне с Литвой, Западной Украиной и всей Белоруссией, в состав Российской империи) еврейское население России скачкообразно возросло. Сотни тысяч польских евреев внезапно оказались подданными Российской короны.

Если до тех пор еврейский вопрос представлял собой с точки зрения российских властей проблему, более или менее окрашенную в этнические цвета, и не в последнюю очередь — в конфессиональные, и подлежал решению в рамках внутренней политики многонационального государства, то отныне во всевозрастающем объеме обозначились и другие аспекты. Например, русское купечество столкнулось с острой конкуренцией еврейского и, конечно же, ополчилось на него. Российское общество, да и государственное устройство оказались перед становящимся все неизбежнее выбором. Екатерина II, до поры до времени не возражавшая против дальнейшей ассимиляции русского еврейства, предприняла судьбоносную попытку кардинально решить еврейский вопрос с его лавинообразно нарастающими побочными проблемами и последствиями. Екатерина издала декрет, которым для евреев вводилась так называемая черта оседлости. Вследствие чего на аннексированных польских территориях, на западе и юго-западе самой России возникло своего рода гетто, правда, гигантское. Область эта уходила в глубину России в восточном и северо-восточном направлении на пятьсот километров и простиралась от Черного моря практически до Балтийского. Для евреев здесь было введено строжайшее особое законодательство, согласно которому была существенно ограничена свобода передвижения, в результате чего покидать зону получили право лишь немногие избранные представители еврейства — богатые купцы, представители академических профессий и особо искусные мастеровые. При этом расчет строился на их неизбежной ассимиляции в православной среде автохтонов.

Забегая вперед, следует отметить, что черта оседлости со все ужесточающимся особым законодательством просуществовала (если отвлечься от немногих и кратковременных периодов послаблений) до Первой мировой войны, не была отменена и с ее началом, и оказалась полностью уничтожена лишь в 1917 году.

Но, несмотря на эти ограничения, на собственно российской земле было немало городов и областей, где еврейское и православное население жило пусть и не слишком дружно, но бок о бок. Правда, в первые два десятилетия XIX века (а в отдельных случаях — и позже) предпринимались определенные попытки насильственно переселить и этих евреев в черту оседлости, но делалось это — при всей демонстрируемой властями решимости — нехотя, делалось по российским обычаям спустя рукава и в конечном счете не приносило ощутимых результатов. А начавшаяся во второй половине столетия демократизация российского общества, толчок которой дали буржуазные реформы 60–70-х (отмена крепостного права, введение местного самоуправления — так называемого земства, судебная реформа), принесла определенное облегчение и евреям. И, как бывало и раньше, во властных кругах набрала силу тенденция поощрять стремление к полной ассимиляции, присущее прежде всего образованному и зажиточному еврейству. Так, например, мы находим критическую оценку проводившейся до тех пор российской политики по отношению к евреям и нацеленного исключительно против них "особого уложения" в рекомендациях, разработанных Высшей комиссией по пересмотру законов, применяемых к лицам иудейского вероисповедания, члены которой были в 1883 году персонально назначены самим Александром III. В рекомендациях Комиссии, возглавленной тогдашним министром юстиции графом Паленом, наряду с прочим, значилось: "Следует ли удивляться тому, что евреи, ограниченные в правах Особым уложением и тем самым униженные, представляют собой совершенно отдельную категорию подданных Короны, не демонстрируют надлежащего почитания существующего порядка, уклоняются от выполнения долга перед Отечеством и не могут целиком и полностью влиться в русскую жизнь? Число особых законов, непосредственно относящихся к евреям, доходит до шестисот пятидесяти, и содержащиеся в них сдержки и ограничения делают жизнь подавляющего большинства евреев воистину мучительной... Необходимо осознать, что евреи имеют полное право жаловаться на условия, в которых они вынуждены пребывать. А ведь они не ино-

странцы; уже свыше ста лет они являются подданными российской короны... Главная задача законодателя состоит во включении, насколько это возможно, населения иудейского вероисповедания в русскую национальную жизнь. На смену системе сдержек и ограничений, на смену особому уложению должна прийти система законов, гарантирующих освобождение и равенство в рамках общего прогресса. К решению еврейского вопроса надо подойти с величайшей мудростью".

Но мнение Палена и выводы его комиссии так и остались гласом вопиющего в пустыне. Ни рекомендации комиссии Палена, ни многие другие попытки того же рода не смогли ничего изменить. Действие особого уложения, дискриминация, да и откровенное беззаконие — вот с чем пришлось и впредь сталкиваться большинству российских евреев. На взгляд неграмотных народных масс и даже значительной части образованной публики, еврей как был, так и остался жидом — презираемым и осмеиваемым инородцем; жуликом, бездельником, трутнем; закоренелым врагом единственно истинной веры. И хотя формированию этого негативного образа отчасти и вынужденно способствовали сами евреи, нравы и обычаи которых резко отличались от жизни коренного населения страны, особенно пагубную роль сыграли антисемитские памфлеты и фельетоны, широко публиковавшиеся в националистической прессе.

Резкий конец сравнительно либеральной российской политике по отношению к собственному еврейству был положен уже в 1881 году, когда в Санкт-Петербурге при взрыве бомбы был убит террористами Александр II — царь-реформатор, нововведения которого хотя бы отчасти обернулись благом и для российских евреев. Националистическая пресса, да и реакционно-консервативные круги в целом, тут же распустили слух, согласно которому царь-реформатор пал жертвой зловещего союза между евреями и анархистами. И этот слух породил волну слепой ненависти к евреям, прокатившуюся по всей России и затронувшую прежде всего городские низы и представителей мелкой буржуазии. Экономическая депрессия, массовое обнищание, даже голод, — всё это в 1881—1884 годах привело к массовым выступлениям против евреев по всей царской России. Резко возросло

число погромов. В это лихолетье и непосредственно вслед за ним евреи начали в массовом порядке покидать Россию, устремляясь в Западную Европу, а то и в Америку. Так, например, в "урожайном" на погромы 1903 году Россию покинули, прихватив с собой главным образом скудные пожитки, сорок восемь тысяч евреев. Бежали они куда глаза глядят, пребывая, однако же, в уверенности, что нигде им не будет житься хуже и горше, чем в России. Тут уж и российское правительство почувствовало себя обязанным как-то отреагировать на происходящее, но проделало оно это в своей всегдашней манере. Оно ужесточило и без того проникнутое духом ненависти к евреям особое уложение и дополнило его так называемыми "временными директивами", ограничивающими свободу передвижения для евреев сильнее, чем когда бы то ни было ранее; оно ввело положения, сводящие и без того жалкие гражданские права, которыми были наделены в России евреи, к откровенно издевательскому минимуму. Особо отвратительным проявлением антисемитской истерии, охватившей в ту пору общество, были процессы по так называемым "ритуальным убийствам" — процессы, в ходе которых евреев обвиняли в том, будто они умерщвляют христианских младенцев, с тем чтобы использовать их кровь для приготовления праздничной (на Песах) мацы. Эти россказни и легенды черни, гулявшие из уст в уста уже не одно десятилетие, стали теперь предметом юридического исследования в суде!

На западе и юго-западе Российской империи, от Вильны и аннексированной Варшавы до самой Одессы, по градам и весям проходили целые полчища, грабящие и поджигающие дома и в ходе кровавой оргии лишающие жизни каждого, кто имел несчастье обладать кривым и длинным носом или носить кафтан. А что касается вмешательства царской бюрократии и полиции, оно повсюду оказывалось притворным или, самое меньшее, запоздалым.

Может показаться чуть ли не чудом, что, несмотря на погромы, питаемые кровавыми наветами, и строжайшую государственную дискриминацию, по сути дела создавшую в черте оседлости еще одну, внутреннюю, зону запретов и ограничений и лишившую евреев, наряду с прочим, права на свободный выбор профессии и на получение образования, несмотря на фактическую

политику выдавливания из России, в обеих столицах, в губернских и уездных городах гигантской страны по-прежнему проживали миллионы евреев, часть которых все еще стремилась ассимилироваться в среде коренного населения, тогда как другая часть — и существенно большая — безропотно терпела лишения, тешась надеждой на то, что маятник может когда-нибудь качнуться и в другую сторону, что где-нибудь появится наконец долгожданный мессия, избавит их от страданий и поведет за собою на землю обетованную, в священную страну Сион.

И все же (или, может быть, как раз поэтому) в среде российских евреев зародилось движение, в лидеры которого выбились предтечи сионизма — Перец Смоленский, Моше Лейб Лилиенблюм, Ахад Хаам и некоторые другие, — и люди внимали им с определенной заинтересованностью. Они не забывали о традиционных требованиях российских евреев — таких как достижение равноправия и полноценное участие в культурной и хозяйственной жизни (пусть и подходили к ним со своих, зачастую весьма противоречивых, позиций), — но этим не ограничивались, начав работу по просвещению еврейства, по формированию и осознанию национальной идентичности, выводя последнюю из общееврейской изоляции, отчасти вынужденной, отчасти избранной добровольно, с оглядкой на религиозные традиции.

По преимуществу среди молодежи начали формироваться кружки и группы, сознательно дистанцирующиеся от бесплодных мечтаний, присущих поколению отцов. Конечно, слово "Сион" оставалось для них столь же священным, но терпеливо дожидаться прихода мессии они не собирались. Они все больше преисполнялись решимости взять собственную судьбу в свои руки, пусть многим это и казалось противоречащим самому духу еврейства поведением. Возникали кружки и союзы палестинофилов (по самоназванию), ставящие перед своими членами цель переселения в Палестину. Конечно, решиться в действительности на подобный шаг могли поначалу лишь немногие. В песках Палестины, в суровейших природных условиях, они основывали первые еврейские поселения, опираясь на финансовую помощь западноевропейских и американских евреев. Однако их пример если и не вдохновлял, то заставлял задуматься

массы остающихся в России. И хотя последователей у них на первых порах нашлось не много, вековечную мечту о приходе мессии заметно потеснила другая — тоже смутная, но хотя бы в какой-то мере реальная.

В начале XX века Россию ежегодно покидали примерно семьдесят тысяч евреев. Сплошь и рядом они срывались с места очертя голову и слепо искали прибежища где придется, — в США, в Аргентине, в Канаде, в той же Палестине. Но волна погромов вроде бы пошла на убыль, пока весной 1903 года не разразился самый страшный из них — кишиневский.

Именно весть о кишиневском погроме стала для Герцля одним из немаловажных поводов перенести основные усилия на русское направление. Разумеется, сведения о России, и в особенности о своеобразии тамошней жизни и об отношениях, господствующих в обществе, имеющиеся у него, были, мягко говоря, фрагментарными. Конечно, он кое-что читал, кое-что слыхал и встречался в Гааге с русскими дипломатами, но весьма смутно представлял себе условия, в которых живут дискриминируемые, преследуемые и лишенные гражданских прав российские евреи, равно как и проблемы, с которыми приходится сталкиваться тамошним сионистам. Лишь познакомившись на Первом всемирном сионистском конгрессе в Базеле с членами российской делегации и подробно поговорив с двумя своими самыми пылкими приверженцами — доктором философии Кацнельсоном из Курляндии и лесоторговцем Вольфсоном, он в полной мере понял (услышав это впервые от собеседников), как именно "решается" еврейский вопрос в России и в сколь существенной мере зависит успех всего его предприятия от того, примут в нем участие российские евреи или нет. "Евреи России представляют собой для нас практически неиссякающий личный ресурс, — заявил ему Вольфсон. — Если бы нам удалось договориться с царским правительством о совместных действиях по организации планового исхода российских евреев, успех был бы уже наполовину гарантирован".

Очень может быть, что именно эти встречи и беседы побудили Герцля вписать в статью о базельском конгрессе строки, в

которых впервые сквозит новое и куда более глубокое, чем прежде, понимание проблемы: "Варвар — это тот, кого не понимают (Bárbarus híc ego súm, quia nón intéllegor úlli). Вот и принимают восточноевропейских евреев за необузданных дикарей вроде шекспировского Калибана. Какое заблуждение!.. Для меня, не стану скрывать, появление на конгрессе делегации из России стало самым сильным впечатлением от всего мероприятия... И вот перед нами на конгрессе словно из-под земли предстало российское еврейство, обладающее культурой, о наличии которой мы не могли и догадываться. Это уж не Калибан, а мудрый Просперо... Исполненная оригинальной жизненной силы, проходила перед нами наша собственная история, заключенная в этих образах. Поневоле я вспомнил, как предостерегали меня еще в самом начале моих усилий: "В сторонники к вам запишутся русские евреи — и только они". Услышь я такое сегодня, ответил бы: "Этого вполне достаточно".

Россия представляла собой до сих пор звено, выпавшее из цепи его многолетних странствий — из Лондона через Берлин до самого Константинополя. Переговоры, которые можно будет провести в Санкт-Петербурге, будут в случае успешного их исхода означать триумфальное завершение первого этапа долгого пути в Палестину вне зависимости от того, сколько вопросов останется на тот момент еще открытыми. Если ему только удастся завязать личные отношения с ключевыми персонами в царском правительстве (на каком именно уровне и на каких предварительных условиях — это не имеет особенного значения), дальнейшие тонкости и детали, в том числе и потенциально конфликтного свойства, можно будет обсудить позднее, в письменной форме, — точь-в-точь, как после переговоров с британскими министрами, которые от переписки с Герцлем пусть и уклоняются, но ведь никогда не поздно начать! Дипломатия представляет собой искусство маленьких осторожных шажков, она сродни фехтованию на кинжалах, а вовсе не на эспадронах. Потому что имеет значение только конечный результат, и все усилия должны быть подчинены общей цели. Ведь речь шла о судьбе российских евреев, об их выживании в прямом смысле слова, о жизни и смерти, как подчеркнули и лишний раз напом-

нили кишиневские события. Речь шла о существовании сионистского движения в России. И — сейчас, как и всегда — о Палестине, зажатой в турецкой руке крепкой хваткой, разжать которую без заступничества России — с помощью одних только Англии и Германии, еще далеко, впрочем, не гарантированной, — представлялось на грани неосуществимого. Надо было только сначала вступить в личный контакт с влиятельными государственными мужами России, чтобы исключить недоразумения, потому что именно недоразумения, равно как и незнание подлинных задач и целей сионистского движения, казались ему главной причиной настороженной позиции российского правительства. И Герцль не сомневался в том, что — и изъясняя воистину жгучий еврейский вопрос, и добиваясь посредничества на переговорах с турками — ему нельзя упускать из виду собственно российские интересы. Независимо от того, удастся ли ему в Санкт-Петербурге добиться личной аудиенции у Николая II, как в свое время посчастливилось получить таковую у германского императора, или дело сведется к встречам и разговорам с царскими министрами, красноречие Герцля и серьезность выдвигаемых им доводов должны были произвести впечатление, а это, полагал и предполагал он, уже само по себе означало бы победу. Ведь ему удалось бы, как минимум, навести на размышления государственных деятелей, юдофобская и антисионистская позиция которых была известна Европе; взять хоть министра внутренних дел Плеве. Дискутируя с идейными противниками, Герцль неизменно апеллировал к их интеллекту, заранее предполагая у них наличие такового, и до сих пор подобная тактика себя оправдывала. В ходе многолетних квазидипломатических усилий он осознал как обязательную предварительную предпосылку успеха достаточно циничную вещь: апелляция к совести или к жалости не срабатывает, напротив, она только создает дополнительные препятствия, когда речь идет о том, чтобы навести мосты и проломить бреши в неприступной стене. И, может быть, Николай II все-таки примет его, к чему Герцль стремится уже много лет, и итоги аудиенции не только принесут послабления российским евреям, и прежде всего сионистам, но и дадут новый толчок идущим ни шатко ни валко русско-турецким пе-

реговорам. Поэтому Герцль практически не позволял себе публичных высказываний о кишиневском погроме. Может быть, из осторожности, чтобы не осложнить себе дополнительно и без того не легкую дорогу в Санкт-Петербург. Ведь в те времена было непросто добиться разрешения министра внутренних дел на въезд в Россию, а вождю сионистского движения это было непросто вдвойне. И министром этим был Плеве, которого во всей Европе считали тайным вдохновителем погромов и косвенным организатором повального и слепого бегства евреев из царской России. Но только от Плеве зависело, состоится ли вымечтанная аудиенция у русского царя или нет.

Кем же был этот Плеве, Вячеслав Константинович Плеве? Заглянем в энциклопедический словарь Мейера 1907 года выпуска и прочитаем: "Российский государственный деятель; родился в 1846 году, умер 28 июля 1904 г. в Петербурге. Изучал право; служил в 1868–81 гг. в Министерстве юстиции, главным образом на прокурорских должностях; в 1881-м назначен директором департамента государственной полиции; в 1884-м – помощник министра внутренних дел; с января 1894-го – государственный секретарь и начальник отдела документации государственной канцелярии; с 1899-го – государственный секретарь по Финляндии в ранге министра; 15 апреля 1902 года назначен министром внутренних дел после убийства своего предшественника на этом посту Сипягина. Энергичный чиновник, пользовавшийся полным доверием Николая II. Боролся с нигилистами; вместе с тем осторожно готовил реформу по децентрализации государственной власти. Убит революционерами при помощи бомбы как "реакционер".

Добавив, что убийцей Плеве оказался еврей-сектант (из так называемых "ессеев") по фамилии Созонов, оставим справку из энциклопедии без дальнейших комментариев. Об этом господине нам еще предстоит потолковать более чем обстоятельно. Герцль, впрочем, как сам он неоднократно высказывался, был готов вступить в переговоры хоть с самим дьяволом. Ведь одной из его излюбленных сентенций была такая: "На чувствах политику не построишь". Правоту ее он осознал на личном опыте, агитируя еврейских финансистов в Париже, Вене и Лондоне в пользу идей

сионизма и наталкиваясь на презрительную отповедь этих людей, считавших его бесплодным мечтателем и политическим фантазером. Да и ведя переговоры с политиками в Лондоне и в Константинополе и, наконец, в ходе личной аудиенции у германского императора. И то, чем он занимался, уже давным-давно не сводилось к квазидипломатическим усилиям. Так и не представив никому верительных грамот (да и откуда им было бы взяться у человека, за которым не стоит никакое государство, никакая страна?), он освоил дипломатическую рутину и давным-давно научился держаться даже в приемных так, что его поневоле выслушивали и над его доводами задумывались.

И вот, под впечатлением от кишиневских событий и в связи с тем, что его просьба об аудиенции у Николая II явно была оставлена без внимания, Герцль принял решение обратиться непосредственно к тем, кто, наряду с царем и чуть ли не наравне с ним, олицетворял внутреннюю политику России.

Первое послание было адресовано министру внутренних дел Плеве.

"Ваше высокопревосходительство, — написал Герцль, — возможно, Вам известно мое имя. Я руководитель сионистского движения, и прискорбные события в Кишиневе буквально заставили меня взяться за перо — однако не затем, чтобы пожаловаться на то, чего уже никак не исправишь.

Из достоверных источников мне стало известно, что евреями в России постепенно овладевает отчаяние. Они убеждены в том, что брошены беззащитными на произвол бесчинствующей черни. В результате, люди старшего поколения, скованные ужасом, сворачивают хозяйственную деятельность, а еврейская молодежь жадно внимает подстрекательским речам революционеров. Пятнадцати-, шестнадцатилетние подростки, ничего не смыслящие ни в теории, ни в практике революции, им проповедуемым, получают первые уроки насилия.

Истинную гордость сионистского движения составляет тот факт, что в эти тревожные и сумрачные годы мы смогли противопоставить обрушившимся на наш народ несчастьям высокий идеал, способный даровать успокоение и утешение. Ваше высокопревосходительство наверняка осведомлены об этом.

И вот сейчас исключительно серьезные люди сообщают мне, что имеется средство, обеспечивающее мгновенный перелом в настроении моих несчастных российских соплеменников. И средство это заключается в предоставлении мне личной аудиенции Его Величеством императором. Одно это существенно изменило бы к лучшему сложившуюся на данный момент ситуацию, причем тема и содержание переговоров, разумеется, не были бы преданы огласке.

Мне было бы не впервой оправдывать подобное доверие; доказательством этому может послужить тот факт, что конкретное содержание моих многократных переговоров с Его Величеством императором Вильгельмом и с турецким султаном так и не было разглашено.

Если мне будет предоставлена высочайшая аудиенция, я воспользуюсь этим счастливым случаем, чтобы дать Его Величеству полную и достоверную информацию о сионистском движении и нижайше испросить дальнейшей помощи и поддержки.

Уже несколько лет назад в составленном по-французски меморандуме, который Его Высочество великий герцог Баденский взял на себя труд передать Его императорскому Величеству, обрисовал российскому императору цели сионистского движения и удостоился за это августейшей благодарности и похвалы.

Великие герцоги Баденский и Гессенский, которых я имею высокую честь знать лично, и один из русских великих князей уже на протяжении нескольких лет хлопочут о предоставлении мне личной аудиенции у Его Величества. Лишь случайные обстоятельства воспрепятствовали этому; так, однажды, в Дармштадте внезапно занемог царь.

Сейчас однако же речь идет о настолько серьезном поводе, и я готов оказать российскому правительству в деле успокоения общественных настроений столь существенную помощь, что прошение об аудиенции стало уместно отправить по официальной инстанции.

В случае Вашего согласия прошу сразу же выслать мне требуемые для поездки в Россию паспорт и подорожную или по телеграфу известить пограничную власть о необходимости подготовить таковые.

Я готов выехать уже на этой неделе".

Второе письмо Герцль адресовал обер-прокурору Священного синода Победоносцеву, который, как сообщили вождю сионизма из различных источников, был православным фанатиком и славянофилом и в качестве такового — решительным противником вольнодумства и любых прогрессивных идей. Победоносцев слыл также одним из вдохновителей еврейских погромов. По Европе гуляла фраза, сказанная им в разговоре с одним из членов английского парламента: "Еврей — это паразит; удалите его из живого организма, в котором и за счет которого он живет, поместите на голый камень — и он подохнет". Тот факт, что Герцль все-таки обратился к этому человеку, "серому кардиналу" при дворе русского царя, наверняка стоил ему еще больших усилий, чем апелляция к Плеве, и означает это, что он не желал пренебрегать ни одной из скудного запаса имеющихся у него возможностей. Оба письма — и к Плеве, и к Победоносцеву — были пробными шарами или даже, скорее, воздушными шариками, какие дети на авось выпускают в небо в наивной надежде на то, что их — и привязанную к ним записку — кто-нибудь ухитрится поймать. И на этот счет у самого Герцля не было никаких иллюзий. И все же он уповал на какую-то реакцию, на отклик из Санкт-Петербурга, и, может быть, не столь необязательный, как тот, что он получил четыре года назад в ответ на свой меморандум царю. Строго говоря, тогда никакого отклика просто не было.

Письмо, адресованное обер-прокурору Победоносцеву, гласило следующее:

"Ваше высокопревосходительство!

Прилагаю к данному письму копию другого, направленного мною сегодня министру Плеве. И обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с просьбой поддержать мое начинание.

Излагаю соображения, побудившие меня поступить именно так.

Однажды мне довелось разговаривать с известным писателем о безутешном положении, в котором пребывают в России евреи. Упомянул также тот факт, что молва возлагает за это главную вину на Ваше высокопревосходительство. Мой друг ответил мне: "Позвольте рассказать вам одну историю. Несколько лет назад я был на водах в Мариенбаде (или он упомянул Карлсбад?) и однажды отправился на прогулку по лесу. На нехоженой тропе я

внезапно наткнулся на нищенку в жалких лохмотьях и выраженно еврейской наружности. Стоило мне сделать еще несколько шагов, и я наткнулся — на кого же? На Победоносцева! Уступил ему дорогу и посмотрел вослед, чтобы выведать, как поведет себя знаменитый юдофоб при встрече с еврейской нищенкой. Как же велико было мое удивление, когда я увидел, что он остановился возле нее, полез в портмоне и подал нищенке монету".

Вы, Ваше высокопревосходительство, наверняка давным-давно запамятовали об этой ничтожной для Вас истории, а вот на меня она произвела глубокое впечатление. Мне кажется, именно в этот момент я впервые понял природу официозного русского антисемитизма. Государственные деятели России рассматривают еврейский вопрос как одну из сложнейших проблем, стоящих перед правительством, и, может быть, им было бы угодно найти решение проблемы, не осложненное ненужной жестокостью.

Если моя нижайшая просьба об аудиенции у Его Величества будет удовлетворена, я заранее прошу Ваше высокопревосходительство о чести повидаться и с Вами".

Герцль осознавал, что встреча с этим человеком окажется особенно сложной и тяжелой. С Победоносцевым нужно было держать ухо востро, пожалуй, еще в большей мере, чем с Плеве, и подбирать выражения с особой осторожностью. Но его размышления над тем, как лучше и эффективнее всего было бы вести себя в беседах с обоими государственными мужами, оказались излишними. Ни министр внутренних дел, ни обер-прокурор не сочли нужным ответить Герцлю. Было совершенно очевидно, что в Петербурге ему уготован не просто неласковый прием; тамошние власти предпочли не обращать на него ровным счетом никакого внимания. Однако Герцль был твердо убежден в том, что подобная позиция объясняется исключительно тем, что ни царь, ни правительство ничего не знают о целях и задачах сионистского движения, и подобную ситуацию можно переломить только в ходе личных встреч и бесед. Но как ему теперь было подступиться к делу?

Еще на предварительных этапах подготовки встреч с представителями турецких властей и стремясь к аудиенции у германс-

кого кайзера, Герцль неоднократно прибегал к посредничеству добровольных помощников. Речь идет о людях, обладавших определенными связями, позволяющими раскрыть перед вождем сионизма двери, которые в ином случае так и остались бы для него запертыми. Стремясь к цели, Герцль не гнушался ничьей помощью, да и не в его ситуации было бы гнушаться ею. Кстати, и самих этих посредников — и в турецкой миссии, и в немецкой — он нашел более или менее случайно.

Так, однажды в его венском бюро появился странновато выглядящий человек с повадками признанного, как минимум, собственными адептами пророка и объявил себя спасителем мирового еврейства, возвращение которого в священный Иерусалим, причем в самое ближайшее время, он, дескать, вычислил, опираясь на текст Библии. Этот человек, англиканский священник немецких кровей, назвал Герцлю свое имя — Вильям Хехлер — и сообщил, что служил некогда домашним учителем у одного из германских принцев. Хехлер сказал, что видел в книжной лавке трактат Герцля "Еврейское государство" и что он сам написал книгу, в которой изложил и неопровержимо доказал собственное пророчество. И тут же предложил Герцлю посреднические услуги, которые мог бы оказать, опираясь на личные связи при германском и некоторых других европейских дворах. При всей абсурдности речей и повадок Хехлера Герцль тут же сообразил, что тот и впрямь может оказаться ключевой фигурой в деле наведения мостов ко двору германского императора. По меньшей мере, именно это вытекало из недвусмысленных намеков чудаковатого посетителя. Герцль отнесся к Хехлеру с должным вниманием, и, как выяснилось, тот, говоря о своих связях и возможностях, не преувеличивал. Хотя ему и не удалось поначалу обеспечить Герцлю непосредственный выход на императора и его "ближний круг", Хехлер добился для Герцля аудиенции у Фридриха, великого герцога Баденского, кузена и советника императора Вильгельма II, а также правителя, ведшего у себя в Бадене относительно либеральную еврейскую политику.

Аудиенцию у немецкого князька, выслушавшего Герцля с интересом и в целом одобрившего его планы, вождь сионизма в свое время посчитал своим первым по-настоящему серьезным

дипломатическим успехом. И сумел развить этот успех, добившись от великого герцога заверений в том, что тот готов походатайствовать за Герцля и его дело при берлинском дворе. Лед, таким образом, оказался сломан, и долгожданная аудиенция у Вильгельма II все же состоялась, пусть и после долгих проволочек и препирательств с немецким послом в Австрии и с министром иностранных дел Германии фон Бюловом.

Вторым посредником, помощью которого не пренебрег Герцль, оказался несколько комический, может быть, даже опереточный польский аристократ по фамилии Невлинский. Этот Невлинский издавал в Вене газету или, скорее, листок, посвященный международной политике; соответственно, чувствовал себя в ней как рыба в воде (хотя политику правильнее было бы назвать скользким льдом) и, наряду с прочим, располагал многочисленными и разнообразными связями при дворе турецкого султана. И, уже обладая опытом успешного посредничества Хехлера по вопросу об аудиенции у германского императора, Герцль решил теперь воспользоваться помощью Невлинского, которого он успел завербовать в сочувствующие идее сионизма, с тем чтобы тот добился для него аудиенции у турецкого султана Абдула-Хамида II. На тот факт, что, выполняя эту просьбу, Невлинский попутно решал собственные финансовые проблемы, Герцль предпочел закрыть глаза. Увы, фактически всё свелось к обстоятельным беседам с турецкими пашами, потому что Невлинский в один из своих визитов в Константинополь скоропостижно умер от инфаркта.

Тому факту, что после более или менее успешного сотрудничества с Хехлером и Невлинским Герцль теперь, ища пути в Россию, обратился за посредничеством к двум дамам, имелись многие объяснения. Во-первых, он стал теперь опытным дипломатом, в частности, афронт, который он потерпел в Лондоне, научил Герцля многому — теперь его было, с одной стороны, не провести, а с другой — он понял, что ни одна дипломатическая неудача не является окончательной. Главное же заключалось в том, что в выборе посредников он стал с годами куда разборчивее. И таковыми могли теперь стать лишь те люди, которым он доверял полностью. И довериться он решил двум дамам — одна

из них была страстной пацифисткой, беспрестанно борющейся за мир во всем мире, а вторая – симпатизирующей идее сионизма польской помещицей.

Первой из этих дам была австрийская баронесса Берта фон Зутнер (в девичестве – графиня Кински), ставшая мировой знаменитостью по выходе ее антимилитаристской книги "Долой оружие!", но остановиться и успокоиться на этом не пожелавшая. Учреждая одно пацифистское общество за другим, проводя и посещая антивоенные конгрессы, баронесса взывала – пусть главным образом и тщетно – к совести государственных деятелей и дипломатов. Баронесса и ее муж барон, возглавлявший, кстати говоря, венский "Союз по борьбе с антисемитизмом", хорошо знали Герцля и постоянно общались с ним. В конце концов ему удалось преодолеть предубеждение Берты фон Зутнер против политического сионизма ("Полная ассимиляция евреев, пожалуй, лучший выход из положения, нежели создание нового государства и формирование единой нации", – утверждала она ранее) и склонить ее к сотрудничеству с собственным сионистским журналом "Ди Вельт", учрежденным в 1897 году. При этом она уже успела посодействовать Герцлю в деле налаживания контактов с влиятельными политиками в кулуарах Мирной конференции в Гааге. И вот она, раздраженная ползучим венским антисемитизмом "салонного и придворного свойства" и бесконечно напуганная рассказами о чудовищных погромах в России, изъявила готовность написать российскому императору в поддержку Герцля и его сионистских идей.

Польской помещицей, к которой Герцль также обратился с просьбой о помощи и поддержке, была вышедшая замуж за русского дворянина уроженка Вильны Полина Казимировна Корвин-Пиотровская, на тот момент проживавшая в Санкт-Петербурге. Она также была во многих отношениях замечательной особой. Так, известно, что она еще в 1877 году обратилась к невесте престолонаследника (будущего государя Александра III) с просьбой стать почетной председательницей финансируемой самой Корвин-Пиотровской выставки, которая должна была быть посвящена положению русской женщины в семье и в быту. Воистину революционная по тем временам идея – особенно если

учесть, что вслед за проведением выставки предполагалось учредить женский союз. И хотя эти планы не осуществились, само их наличие заставляет с особым почтением взглянуть на Корвин-Пиотровскую и ее усилия по эмансипации русской женщины. А от бедственного положения русской женщины оставалось сделать всего полшага, чтобы проникнуться состраданием к российскому еврейству, с несчастьями, претерпеваемыми которым, она столкнулась уже в родной Вильне. В Варшаве, где проживала ее многочисленная родня, Корвин-Пиотровская подружилась с адвокатом Ясиновским, вожаком польских сионистов, и тот ознакомил ее с идеями и целями движения. В Санкт-Петербурге, где она проживала большую часть времени, Корвин-Пиотровская обладала обширными связями в самых высоких кругах и, в частности (и Герцль придал этой частности особое значение), была хорошо знакома с министром внутренних дел Плеве.

После попытки, предпринятой в августе 1902 года и, увы, оставшейся безуспешной, Герцль обратился к Полине Казимировне с новым письмом:

"Высокочтимая милостивая государыня!

О положении дел в нашем сионистском движении, в котором Вы приняли столь великодушное участие, не могу, увы, сообщить ничего утешительного.

Наши усилия, к сожалению, так и не оказались оценены по достоинству там, где их, казалось бы, должны были понять лучше всего.

В таких условиях нам и впрямь вряд ли следует рассчитывать на нечто большее.

В последнее время мною была предпринята попытка заручиться эффективным содействием в России, потому что я надеялся на то, что тамошние инстанции сразу же осознают справедливость нашей аргументации и ее несомненную пользу в деле решения еврейского вопроса.

Я написал господам Плеве и Победоносцеву и попросил их споспешествовать в предоставлении мне аудиенции у царя. При этом я преследовал двоякую цель. Во-первых, сам факт подобной аудиенции несколько успокоил бы наш несчастный и пребывающий в унынии и тревоге народ.

Вам ведь известно, сколь чувствительны мои бедные соплеменники к знакам высокого, и тем более высочайшего, внимания. Во-вторых, однако же (во-вторых и в главных), я надеялся воспользоваться данной возможностью, чтобы изложить министру Плеве план упорядоченного и окончательного выезда евреев из России, с тем чтобы заручиться его покровительством и содействием. И я твердо убежден, что в ходе личной беседы он сумел бы понять и оценить мои доводы. Ведь, судя по всему, включая противоречивые и чрезвычайно ненадежные газетные сообщения, еврейский вопрос волнует его, и удачное решение пришлось бы для него как нельзя кстати.

К сожалению, моя высокая покровительница баронесса Зутнер сообщила мне, в свою очередь, со слов графа Ламсдорфа, что в августейшей аудиенции мне будет отказано. Правда, меж тем настроения российских евреев несколько успокоились сами по себе. Однако остается в силе мое второе пожелание: подробно обсудить с господином Плеве развернутый план эмиграции и убедить его, самого могущественного государственного деятеля России, в том, что подобное решение вопроса принесет облегчение всем заинтересованным сторонам. Да, это пожелание остается в силе.

И все же я никак не могу заставить себя еще раз обратиться прямо к министру, не получив от него ответа на письмо от 23 мая. Разумеется, с оглядкой на его кипучую деятельность, я и не рассчитывал на мгновенный ответ. Тем не менее повторная личная просьба в такой ситуации может показаться нескромной.

И тут я вспомнил, что Вы хорошо знакомы с господином Плеве.

И, если это Вас не затруднит, я попросил бы Вас поинтересоваться у него, примет ли он меня. Я готов выехать в Петербург по первому сигналу".

Берта фон Зутнер и Полина Корвин-Пиотровская постарались помочь Герцлю. Они обе сразу же обратились с настоятельными письмами к русскому царю, равно как и к министру Плеве, горячо рекомендуя Герцля как человека мудрого и уравновешенного, в порядочности которого они готовы поручить-

ся, и выражая уверенность в том, что испрашиваемые аудиенции могут оказаться полезными для всех сторон.

Петербургский двор даже не счел нужным отреагировать на письмо Берты фон Зутнер, в котором она назвала свои отношения с Герцлем "близкой дружбой". Эхо ее антивоенной книги уже давно утихло, а ее дальнейшие призывы к сохранению мира во всем мире и пророчества, заставляющие вспомнить об античной Кассандре, не воспринимались всерьез многими (не только в Санкт-Петербурге) и просто-напросто вызывали раздражение. Власти великих держав уже взяли курс на неизбежную мировую войну и начали гонку вооружений, желая подготовиться к ней как можно лучше.

Однако Корвин-Пиотровской удалось использовать свое знакомство с министром внутренних дел (какова бы ни была подлинная природа этого знакомства), и Плеве в конце концов разрешил Герцлю въезд в Россию и пообещал дать ему личную аудиенцию.

Вероятнее всего, этому разрешению предшествовал разговор в Зимнем дворце между царем и министром внутренних дел. И, разумеется, оба уже прекрасно понимали, кого именно впускают в страну. Уже долгие годы в Департаменте полиции российской столицы, характерным образом расположенном по соседству с Министерством внутренних дел, копилась документация, включающая детальные отчеты о деятельности сионистов как в России, так и в Западной Европе, — и если не на каждой, то на каждой второй странице значилось имя Теодора Герцля, порой жирно подчеркнутое, порой снабженное восклицательным знаком. Сам директор Департамента А. А. Лопухин уже несколько месяцев работал над объемным исследованием о возникновении сионистского движения и его активности, в котором Лопухин аттестовал Герцля в качестве "отчаяннного ненавистника России". Таким образом, российское правительство и его органы безопасности были отлично подготовлены к встрече с Герцлем.

А что насчет него самого?

Герцля никто не уполномачивал отправиться в Россию — ни всемирный конгресс, ни исполнительный комитет, осуществля-

ющий оперативное руководство сионистским движением в перерыве между конгрессами. И хотя в среде русских сионистов имелись и сторонники наведения мостов с петербургской властью, в большинстве своем российское еврейство было глубоко озабочено и не скрывало своих опасений от самого Герцля: встреча вождя сионизма с министром внутренних дел Плеве была после кишиневских событий нежелательна и, более того, угрожала репутации движения. Герцль в какой-то мере понял эти резоны, однако пренебрег ими как излишне эмоциональными и, следовательно, недальновидными. Кроме того, никакие контрдоводы никогда не действовали на него в тех случаях, когда он был абсолютно убежден в правильности выбранного решения. Россия была для него последним козырем, и он был просто обязан пустить его в ход, иначе вся палестинская партия оказалась бы проиграна на неопределенно длительное время, если не навсегда.

И все же на протяжении всех дней, предшествующих отъезду, Герцля не покидало ощущение, что он превратился в канатоходца, пускающегося в странствие над бездной, причем без подстраховочной сетки. Ему пришлось вытеснить это чувство, как это уже было однажды, — непосредственно перед аудиенцией у германского императора. Полностью убежденный в правоте своего дела, он был тогда, однако же, во многих других отношениях сама неуверенность. До тех пор, пока монарх не пожал ему руку. И это заставило Герцля собраться с силами, как всякий раз, когда ему предстояло изложить свою точку зрения. И в Санкт-Петербурге всё наверняка произойдет точно так же. Он твердо верил в это, он не сомневался ни в силе своих аргументов, ни в собственном умении убеждать. Или предшествующий опыт не снабдил его соответствующими доказательствами? Конечно, результаты всякий раз оказывались недостаточными, чтобы не сказать ничтожными. Но Петербург — это вам не Лондон и не Константинополь! Тамошние власти поневоле сталкиваются с еврейским вопросом, острота постановки которого затмевает любое сравнение с положением дел в Западной Европе и даже в Турции. Здесь должен произойти решающий прорыв. Здесь, полагал Герцль, он сумеет найти благодарных и отзывчи-

вых слушателей, сможет подвигнуть их не только на ответное слово, но и на дело. Дипломатия — это, в конце концов, искусство мелких шажков, фехтование на кинжалах, а не на эспадронах. Главное — окончательный результат, и все остальное должно подчиниться его достижению. Русские дипломаты, с которыми ему довелось встречаться в Гааге, были, в конце концов, всего лишь проводниками и исполнителями чужой воли, тогда как в Петербурге он обратится непосредственно к тем, кто распоряжения отдает.

Перечень вопросов, по которым Герцль собирался вести переговоры в Санкт-Петербурге, был по принципиальным соображениям составлен предельно коротко и четко. Практически он включал в себя всего три пункта. Во-первых: облегчить положение российских евреев в пределах разумного. Во-вторых: убедить царя усилить нажим на Турцию. В-третьих: создать более благоприятные условия для деятельности сионистского движения в России, включая допуск в страну Еврейского колониального банка.

Последний пункт имел для Герцля ничуть не меньшее значение, чем два предыдущих. Вызванный им к жизни новый (политический) сионизм давно уже стал фактором общественной жизни и в России, успев обзавестись, в частности, четкими оргструктурами. Сеть сионистских кружков с центральным бюро в Киеве накрывала всю Россию, включая даже Сибирь. Помимо членских взносов, которые платил каждый участник таких кружков, проводился постоянный сбор пожертвований; часть собранных сумм расходовалась в России, а остальное перечислялось на счета венского исполкома. Сионистские эмиссары и агитаторы колесили по стране. Что же касается Еврейского колониального банка, расположенного в Лондоне и занятого главным образом скупкой земель в Палестине и денежной помощью иммигрантам, то в России распространялись его акции, причем акции достаточно мелкого номинала, чтобы на них мог подписаться любой подпавший под влияние идей сионизма еврей. Однако, вопреки вышесказанному, ни в одной стране мира сионистам не приходилось сталкиваться с такими ограничениями и запретами, как в России. Полицейские обыски, допросы и лишение вида на жительство являлись широко распространенной практи-

кой. И как раз в то самое время, когда Плеве разрешил Герцлю въезд в Россию, другой царский министр – Витте (он возглавлял Министерство финансов) – запретил распространение акций Еврейского колониального банка. Да и сам Плеве отличился, высказавшись в тайном циркуляре за полный запрет сионизма в России.

Еще недвусмысленнее высказался по еврейскому вопросу в предназначенной "для служебного пользования" докладной чиновник Главного управления цензуры граф Комаровский:

"Еврейский вопрос не должен являться предметом исключительно бюрократического рассмотрения, к нему следует подойти с точки зрения ущерба, наносимого евреями русскому народу. Поэтому было бы полезнее искоренить чуждый и вредный элемент, нежели жертвовать ради него фундаментальными интересами коренного населения.

В противном случае русский народ умоется горькими слезами, когда черта оседлости окажется отменена и еврейство неудержимым и все прибывающим потоком захлестнет грады и веси России и затопит их. В этот день будет совершено тяжкое преступление против всего русского народа".

Менее благоприятного времени для приезда Герцля, чем август 1903 года, казалось, было невозможно придумать нарочно.

Но Герцля было уже не остановить. Сейчас или никогда – так звучал, должно быть, в эту пору его девиз. Посетив российское консульство в Вене, уплатив восемьдесят пять крон и получив въездную визу, он в сопровождении одного из самых верных соратников из числа руководителей сионистского движения, уроженца Курляндии, доктора философии Кацнельсона со сдержанной уверенностью, однако не без внутреннего напряжения, отправился в путешествие, конечной точкой которого должен был стать Санкт-Петербург. И был рад тому, что в лице Кацнельсона обрел спутника, разбирающегося в российских условиях и способного в критической ситуации поспешить на помощь.

Для сотрудников российского консульства в Вене, выдавших визу Герцлю, этот проситель едва ли мог оставаться человеком неизвестным. Возможно, ему довелось разок столкнуться в од-

ном из венских салонов с самим генеральным консулом и перекинуться с ним парой слов. В любом случае его знали, самое меньшее, понаслышке. И, разумеется, еще перед тем, как Герцль переступил порог консульства, здесь было получено письмо из петербургского Министерства внутренних дел, равно как и другое — из иностранного отдела Департамента полиции, — в которых консульство информировали о планах вождя сионистов посетить Россию и предписывали не чинить ему в этом отношении никаких препятствий. Можно с большой долей уверенности предположить, что в тот самый миг, когда Герцль в сопровождении доктора Кацнельсона вошел в поезд на венском вокзале Франца-Иосифа, телеграмма о его выезде уже лежала на министерском столе в Петербурге, тогда как в полицейские департаменты Варшавы и Вильны полетел приказ разогнать сионистские сходки на вокзалах обоих городов, буде таковые окажутся предприняты.

"От самой границы, где наш багаж самым тщательным образом досмотрели, мчимся по безлюдным и унылым местам, как будто уже попали в приполярную тундру.

Товарищам по движению ничего не сообщили о моей поездке. Но кое-какие сведения, вероятно, все-таки просочились, и люди встречали меня в Варшаве и Вильне.

Дела у них так плохи, что я в своей малости кажусь им чуть ли не мессией.

Кацнельсон, мой добрый спутник, всю дорогу пичкает меня нравоучительными рассказами.

В поездке мы разыграли на карманных шахматах "бессмертную" партию Андерсен—Кизерицкий. И я сказал Кацнельсону, что и собственную партию собираюсь провести хорошо. "Проведите ее так, чтобы она стала бессмертной", — заметил он. "Разумеется, ответил я, вот только ни ладей, ни ферзя жертвовать не стану". Тем самым я косвенно опроверг его подозрения в том, что мой приезд может в каком-то смысле осложнить жизнь русских евреев".

Это строчки из дневника Герцля, написанные в первый же вечер по прибытии в Петербург.

Санкт-Петербург. Варшавский вокзал. На перроне и в зале ожидания всегдашняя привокзальная суета. Шум, носильщики с коробами и баулами, встречающие и провожающие. Небольшая компания петербургских сионистов.

Добро пожаловать!

На заднем плане белокурая дама бальзаковского возраста, неброско одетая. С напускным равнодушием жует бутерброд, только что купленный у будочника в дальнем конце перрона. Дама украдкой раскрывает сумочку, в которой лежит маленький фотоальбом, и, не извлекая его наружу, всматривается в фотографию Герцля, сделанную еще в Вене. Явно удовлетворившись увиденным, закрывает сумочку.

Вот кто, помимо сионистов, встречает Герцля. Хотя ни они, ни он об этом, похоже, даже не догадываются.

Уже пять лет в петербургском Департаменте полиции существует особый отдел, созданный директором Департамента Сволянским, – "по борьбе с вражеской агитацией и пропагандой", как это называется на бюрократическом жаргоне. Отдел располагает разветвленной сетью шпиков и сексотов, оперирующих в обеих столицах и во всех крупных городах России. При подборе персонала для так называемого открытого наблюдения в сотрудники вербовали и женщин, причем с охотой, потому что им, на взгляд руководства, легче было не выдать себя в толпе заговорщиков. Особенно часто такими сотрудницами становились вдовы погибших при исполнении служебных обязанностей агентов. Им полагалась ежемесячная пенсия в пятнадцать рублей, но если они изъявляли готовность продолжить дело покойного мужа, их, разумеется, после тщательной проверки, зачисляли на службу. Любопытно, что список предъявляемых к ним требований был весьма обширен и разнообразен. Женщина, зачисляемая на секретную службу, должна была быть безупречного поведения, верноподданнических и патриотических настроений, обладать смелостью, предприимчивостью и дисциплинированностью, а также выдержкой, упорством, умением четко излагать свои мысли и, конечно же, не должна была употреблять спиртное. Кроме того, от нее требовались отличное здоровье и

физическая подготовка, острое зрение и слух и, не в последнюю очередь, неприметная внешность. Будучи зачислена на службу, такая женщина получала агентурную кличку и жалованье в размере двадцати пяти рублей в месяц, в дальнейшем ее ожидала десятирублевая прибавка.

Всё говорит за то, что как раз одна из таких тайных сотрудниц "повела" Герцля прямо с Варшавского вокзала; в ее донесениях он фигурирует как Бородач. Ей было поручено приглядывать за Герцлем в оба, потому что все эти иностранные знаменитости, особенно если они вдобавок оказываются писателями и евреями, "сумасбродны и чрезвычайно опасны". "Бородача" она опознала сразу же, едва тот, в сопровождении доктора Кацнельсона, вышел из того самого вагона первого класса, который был упомянут в телеграмме, посланной из вильненской жандармерии. В донесении значится: "Согласно Вашему устному распоряжению, имею честь доложить следующее: на перроне у вагона № 3 стояли несколько человек мужского пола, с которыми Бородач поздоровался как с добрыми знакомыми. В сопровождении этих мужчин Бородач проследовал к дожидавшемуся их экипажу".

Женщина "повела" Герцля и дальше — до переулочка между Невским проспектом и Михайловской площадью, в котором расположена гостиница "Европейская".

Таким образом, у Герцля появилась "тень", следовавшая за ним по пятам по всему Санкт-Петербургу и рапортовавшая по инстанции о каждом его шаге. Осознавал ли он это — из его петербургских дневниковых записей не понять. По меньшей мере, можно предположить, что Кацнельсон и петербургские сионисты, прекрасно осведомленные о повадках столичной полиции, сумели со всей недвусмысленностью ввести его в курс дела.

Гостиница "Европейская" была одним из самых роскошных отелей Санкт-Петербурга. Со своими 260 номерами и архитектурным решением, сочетающим в себе разнородные стили, исполненная истинно восточного великолепия, она ни в чем не уступала западноевропейским гранд-отелям. Тот, кто жил здесь, тот, кто поднимался по мраморной лестнице, застланной крас-

ной ковровой дорожкой, будь он живописцем, писателем, финансистом или дипломатом, несомненно принадлежал к сливкам общества — российского или зарубежного. Атмосфера, в которой Герцль — неизменно во фраке, в белых перчатках и в цилиндре — чувствовал себя как рыба в воде. Что такое сионизм, здесь, может быть, и не знают, но вождь мирового сионизма просто-напросто обязан выглядеть безукоризненно. Он ведь представляет не только себя, но и все движение. Герцль с удовольствием окунулся в здешнюю роскошь, начинающуюся прямо в вестибюле гостиницы, выслушал приветствие директора отеля в безупречном черном смокинге и гостиничного портье, фирменные пуговицы на униформе которого были украшены изображением Медного всадника — подлинного символа города на Неве.

Первая же поездка по городу — с вокзала в гостиницу — произвела на Герцля сильнейшее впечатление. Безукоризненно прямые улицы; доходные дома, похожие на те, что в Вене стоят на Рингштрассе. Позолоченные купола церквей и шпили колоколен в лучах утреннего солнца. Невский проспект с бесчисленными и разнообразными конными повозками — от легких дрожек до великолепных экипажей — и толпами гуляк. Праздная суета в гостиничном переулке, бесчисленные магазины и лавочки (в том числе и в здании отеля), рекламные вывески по-французски и по-русски, уже издалека оповещающие каждого о том, что за товар ему здесь предложат. Возможно, это радостное впечатление оказалось бы несколько смазанным, узнай Герцль о том, что и извозчик, на котором он прибыл в гостиницу, зарабатывает себе на хлеб, помимо всего прочего, секретным сотрудничеством с полицией. Но он этого даже не подозревал и тем сильнее и полнее наслаждался диковинной, на его взгляд, красотой Петербурга.

Герцлю доводилось бывать в Лондоне; естественно, в Париже; в Риме; и в, подобно Петербургу, находящемся на окраине Европы Константинополе. Но этот Санкт-Петербург оказался не похож ни на одну из европейских столиц, хотя из всех сил старался оправдать свою репутацию российского "окна в Европу". Эту петербургскую непохожесть ни на что Герцль уловил сразу же, однако в первые часы своего пребывания в городе не

смог бы сформулировать, в чем именно она заключается. В конце концов ему открылась пока витрина города — и только она: парадный фасад, которым столица России обращена к иностранцу. И все же у Герцля сразу же возникло ощущение, будто эти изумительные улицы, переулок у гостиницы, сама гостиница — не более чем кулисы или декорации к спектаклю, которому здесь предстоит еще разыграться, вот только занавес пока не поднят. Ему почудилось, будто до его слуха уже доносится взволнованное и настороженное перешептыванье собравшейся на спектакль театральной публики. Но третий звонок, извещающий о начале представления, еще не прозвенел. Герцля охватило то же волнение, что и некогда в Вене, в Бургтеатре, перед премьерным спектаклем по его одноактной пьесе "Беженец". Как примут спектакль? Как примут автора пьесы? Тогда он был начинающим драматургом, теперь стал многоопытным политиком, — а смятение, надежда на успех и тайная уверенность в нем — они те же самые.

"Царь иудейский", как в насмешку именовали его в Вене, торжественно въехал в Санкт-Петербург. Однако общественность столицы, да и столица в целом не заметили этого достославного события. Да и как им было заметить? Здесь привыкли к гостям любого рода и ранга — и отовсюду.

Лишь петербургская русско-еврейская газета "Будущность" сообщила о прибытии в город Герцля: "В пятницу, 25 июля*, неожиданно для всех петербургских сионистов (за вычетом, может быть, двух-трех человек), в Петербург приехал глава сионистского движения доктор Теодор Герцль... Цель визита д-ра Герцля в столицу России заключается в желании получить из первых рук информацию об известных правительственных постановлениях, запрещающих как собрания сионистов, так и сбор денег на сионистские цели. Желание д-ра Герцля сохранить строжайшее инкогнито оказалось невыполнимым, потому что уже в Варшаве его узнал кое-кто из попутчиков и сообщил об этом в Вильну, после чего его приветствовали на тамошнем вокзале".

---

* Здесь и далее даты приводятся по григорианскому календарю. — *Прим. автора.*

В апартаментах, предоставленных Герцлю в гостинице "Европейская", его поджидало жестокое разочарование. Он заранее твердо рассчитывал на то, что лорд Майонел Ротшильд из Лондона снабдит его рекомендательным письмом к русскому министру финансов Витте. Однако вместо рекомендательного письма его ждал письменный отказ в таковом со ссылкой на "нынешнее положение дел". Что же за дела или какое их конкретное "положение" помешали лорду продиктовать секретарю понапрасну ожидавшийся Герцлем текст. Трусость, оппортунизм, что-нибудь еще? Разумеется, между Герцлем и Ротшильдом никогда не было особой приязни; не исключено, что второй побаивался чрезмерного усиления первого. Это стало понятно Герцлю уже в Лондоне. Положись на Ротшильда — и он положит тебя на обе лопатки, — так мог бы скаламбурить Герцль с оглядкой на не больно-то вдохновляющий опыт общения со всем банкирским семейством. Однако сейчас ему было не до шуток. Хотя с разочарованием справиться удалось сразу же: без Ротшильдов, значит, без Ротшильдов. Справится и без них — как всегда.

Герцль привел себя в порядок, переоделся, перекусил в гостиничном ресторане "Крыша" и сел на извозчика, благо, у "Европейской" всегда стояли в ожидании пассажиров несколько экипажей.

"Куда прикажете, ваше высокоблагородие?"

Герцль назвал адрес Полины Корвин-Пиотровской: Гороховая улица, 26.

Полька, в свои сорок с лишним вполне сохранившая то неотразимое обаяние, которое общеевропейская молва приписывает ее соплеменницам, приняла его радостно и без церемоний — как старого доброго знакомого. Едва заметно усмехнулась, когда Герцль поцеловал ей ручку: ничего не скажешь, венская школа! В ответ он подчеркнул, что является уроженцем Будапешта, но светская львица пренебрежительно отмахнулась: по меньшей мере в том, что касается изысканных манер, между Веной, Будапештом и той же Варшавой нет разницы.

В гостиной, после того как Герцль обстоятельно рассказал о своей поездке, перешли к обсуждению подлинной цели его визита в Петербург. Полька извлекла из шкатулки письмо, при-

сланное ей министром внутренних дел, значительным и дальновидным политиком и во всех отношениях рыцарственным мужчиной, как не без восторженности охарактеризовала она его, — так сказать, Людовиком XIV, лордом Пальмерстоном и лордом Гладстоном в одном лице.

Герцль не поручился бы, что этот лестный портрет дан ею без малейшего оттенка иронии, но если даже так, то Корвин-Пиотровская не подала и виду. Он понял, что должен оставить без комментариев и тем более без возражений эту скорее эмоциональную, чем реалистическую оценку министра Плеве, сделанную благородной и великодушной дамой, хлопочущей за него и его интересы в Петербурге и уже выправившей ему подорожную в Россию, что без ее заступничества обернулось бы делом долгим, если не попросту безнадежным. И как знать, может быть, министр внутренних дел и впрямь приятный в личном общении человек. Но Герцлю необходимо было составить о нем собственное суждение, по возможности, не зависимое от каких угодно высказываний и мнений, будь это проклятия, которыми осыпают Плеве здешние евреи, или похвалы, расточаемые вообще-то симпатизирующей идеям сионизма Корвин-Пиотровской. Полезной информацией оказался тот факт, что оба они — министр и светская львица — не коренные столичные жители: полька родом из Вильны, а Плеве — из Варшавы. Впрочем, Плеве уже давным-давно гражданин России, а с некоторых пор — и потомственный дворянин, и за это он должен благодарить собственного отца, который еще до рождения Вячеслава (как доверительно называла министра Корвин-Пиотровская) стал подданным российской короны и в конце концов, всего два года назад, получил личное дворянство.

— Тоже, подобно сыну, высокопоставленный государственный служащий? — поинтересовался Герцль.

— Был начальником штаба Варшавского военного округа, — пояснила хозяйка дома. — Однако удалился на покой и в связи с окончанием службы награжден Орденом св. Владимира четвертой степени.

Герцль позволил себе усмехнуться.

— Варшавский петербуржец, выходит. А если немного соскрести краску с фасада, то, не исключено, и еврей.

В ответ Корвин-Пиотровская тоже усмехнулась.

— А про поляков этого никогда не знаешь наверняка. Что ж, по крайней мере, с моего фасада краску пришлось бы соскребать довольно долго.

— Но, в конечном счете, не без успеха?

— Ну это уж в вас взыграла фантазия еврейского литератора.

Рассмеявшись и шутливо погрозив пальчиком Герцлю, она вручила ему письмо министра внутренних дел.

В своем письме Плеве просил Корвин-Пиотровскую известить Герцля о том, что он ждет его сегодня же, в полдесятого вечера, у себя в кабинете.

— Вам известно, где это? — спросила дама, забирая у него письмо. — Ну, конечно, нет. Да и откуда же? Значит, запоминайте: Фонтанка, 16. Этот адрес знаком каждому питерскому извозчику. Мы теперь говорим "Питер" и "питерский" — по этой детали опознают подлинных петербуржцев.

Разочарование Герцля в связи с отсутствием рекомендательного письма лорда Ротшильда министру финансов Витте оказалось забыто. Какая, в конце концов, разница, кто именно организует ему аудиенцию у Николая II? И, скорее всего, и здесь, как это уже было при дворе императора Вильгельма и турецкого султана, для достижения цели следует руководствоваться указаниями официальных инстанций.

Как ни приятно было общение с очаровательной полькой, Герцлю нечего было рассиживаться у нее в гостях. Он еще раз поблагодарил Корвин-Пиотровскую за ее хлопоты и всего пару минут спустя поймал извозчика. Конечно, всё происходило стремительнее, чем он рассчитывал, и у него практически не оставалось времени собраться с мыслями, но, с другой стороны, разве не устраивал его такой поворот событий? Ведь во время поездки в Россию, с момента пересечения границы, он настраивался на встречу с министром внутренних дел. Интерес к предстоящей аудиенции подогревался и любопытством: каким окажется при личной встрече этот столь лестно аттестованный Полиной Казимировной человек? Герцль без особой нужды поправил "бабочку" — ведь его борода фактически закрывала ее — и почувствовал при этом, что его руки влажны; пришлось вытереть их

носовым платком. При всей сдержанности он по-прежнему стремился произвести на любого собеседника самое выигрышное впечатление буквально с первого взгляда. Вспомнить только, какой успех ожидал его некогда в парижском салоне мультимиллионера Хирша, хотя там он был еще никем и ничем и его идеи казались всем чистой фантастикой.

Здание Министерства внутренних дел находилось, как и сказала Герцлю Корвин-Пиотровская, на Фонтанке. Этой реке и еще нескольким рекам и каналам, образующим единую систему, Петербург обязан поэтическим наименованием — Северная Венеция. Летом, впрочем, от водной поверхности порой не слишком приятно пахнет, что и заставляет петербуржцев, имеющих возможность снять дачу на Островах, спешить из города, так рассказывал Герцлю Кацнельсон. Кстати, что-то похожее он читал у Достоевского и, кажется, у Гоголя, сейчас уже не вспомнить. Так или иначе, никакого запаха он не ощущал, полностью уйдя в свои мысли о предстоящей аудиенции. Извозчик придержал лошадей и указал кнутовищем на два подъезда.

— Куда вам, ваше высокоблагородие? Налево или направо? В министерство или в департамент полиции?

Герцль внимательно осмотрел оба здания, благо вид на них открывался прекрасный, и в конце концов сделал выбор в пользу того из них, фасад которого был отмечен большей печатью классицизма. Это решение оказалось правильным. Рассчитавшись с извозчиком, Герцль еще раз окинул взглядом длинный ряд окон балконного бельэтажа и вошел в парадный подъезд. Очутившись в приемной у министра, первым делом назвал свое имя. Плеве, стоя в нише у окна, скрестив руки на груди, посмотрел на него сверху вниз из-за разницы в росте. Не зря Герцль был в молодости драматургом, а в душе оставался им до сих пор. Он отлично знал, какое колоссальное значение имеет первый выход на сцену. Успех актера, да и всего спектакля в целом, порой зависит от этого в решающей мере.

Минуты томительного ожидания в приемной. Тишина. Лишь исполненный напускного безразличия взгляд одного из здешних служащих, скорее всего, сыщика. Герцль выдержал этот взгляд

и не без удовлетворения отметил, что чиновнику в конце концов пришлось отвернуться. Меж тем ожидание затягивалось. Еще один служащий (или сыщик) заглянул в приемную, посмотрел на Герцля и вышел. Но вот створки дверей раскрылись. Министр зовет его в кабинет.

Позже, в дневнике Герцль так опишет первое впечатление, произведенное на него министром:

"Шестидесятилетний мужчина высокого роста, несколько полноватый, стремительно шагнул мне навстречу, поздоровался со мной, пригласил присесть и, если мне угодно, закурить (последнее предложение я отклонил), и заговорил первым. Разглагольствовал он довольно долго, так что у меня была возможность хорошенько разглядеть его раскрасневшееся от волнения лицо. Мы сидели в креслах по две стороны журнального столика. Лицо у него в целом строгое и, пожалуй, нездоровое, седые волосы, белая щетка усов и поразительно живые и молодые карие глаза.

Он говорил по-французски – не блестяще, но и не дурно. И начал с разведки местности".

Поневоле в ходе пространного монолога министра Герцлю пришли на ум слова, сказанные о том Корвин-Пиотровской, и он с трудом удержался от усмешки: ничего себе Людовик XIV! Сравнение, мягко говоря, рискованное. Человек, в рабочем кабинете которого Герцль сейчас находился, был типичным русским начала нового, двадцатого, столетия и, скорее всего, антисемитом, пусть и просвещенным антисемитом. Но будь он хоть самим дьяволом (а в западных газетах его порой характеризовали именно так), то это был дьявол мефистофельской породы, и провести его было бы наверняка не легко. Поэтому Герцлю следовало быть начеку.

О том, какое впечатление сам Герцль произвел на Плеве, можно только догадываться. Возможно, министра поразило то, как не похож оказался этот вечерний посетитель на карикатурного горбоносого еврея. Да и никакого особого чинопочитания, не говоря уж о подобострастии, он явно не ощущал.

Сухо и без обиняков министр объявил Герцлю, что не слишком дружественное отношение царского правительства к сио-

низму может, на его взгляд, измениться в лучшую сторону, но зависит это исключительно от самого Герцля.

Это было четкое и недвусмысленное изложение собственной позиции. Игра началась, и Герцль вспомнил слова Кацнельсона в купе за шахматами и свой ответ: "Ни ладей, ни ферзя я жертвовать не стану".

Герцль кивнул в знак согласия и заметил, что, завись отношение от него одного, оно было бы просто-напросто превосходным.

Тут Плеве приступил к развернутому и обстоятельному изложению точки зрения царского правительства:

— Еврейский вопрос имеет для нас важное значение, пусть и не жизненно важное. И мы стараемся решить его по-хорошему. Я дал согласие на встречу с вами, чтобы, выполняя вашу просьбу, провести эту беседу еще перед открытием базельского конгресса. Я понимаю, что ваш взгляд на проблему не совпадает с точкой зрения российского правительства, и поэтому в качестве вступления изложу именно ее.

Российское государство стремится к единству всего населения страны. Тем не менее, мы понимаем, что не все конфессиональные и языковые различия могут быть преодолены полностью. Так, например, мы терпим распространение в Финляндии более древней, чем наша, скандинавской культуры. Но чего мы требуем и всегда будем требовать от всех народов империи, включая, разумеется, и евреев, — это патриотическое отношение к России и государству. Патриотизм как предпосылка и объективная данность. Мы добиваемся ассимиляции русского еврейства и предлагаем два направления для достижения этой цели: получение высшего образования или успешная экономическая деятельность. Тот, кто выполнит определенные условия как первого, так и второго рода, и о ком мы можем с уверенностью сказать, что он в силу полученного образования или достигнутого имущественно-финансового статуса является сторонником существующего порядка вещей, становится полноправным гражданином. Однако, надо признать, столь желанная для нас ассимиляция идет крайне медленно.

Герцль внимательно выслушивал министра. В конце концов попросил у Плеве лист бумаги, чтобы законспектировать главные тезисы оппонента, прежде чем отвечать на них. Плеве тут же кив-

нул, раскрыл лежащий на письменном столе блокнот и — завзятый бюрократ — бросил взгляд на чистый лист перед тем как вырвал его из переплета. Подавая лист Герцлю, предостерег: "Надеюсь, вы не злоупотребите самим фактом данного собеседования".

Герцль, с самого начала понявший, что министру менее всего хочется прикасаться к теме кишиневского погрома, заверил Плеве, что беседа и впредь пойдет в избранном самим государственном мужем направлении.

Торопливо записывая на листе самые примечательные высказывания министра, Герцль сперва неуверенно, но с каждой минутой все сильнее проникался ощущением, будто Плеве и впрямь склонен видеть в идеях политического сионизма возможное решение еврейского вопроса. "Неужели, — думал Герцль, — этот дальновидный и прекрасно информированный политик не понял — хотя бы после кишиневских событий, — что погром легко может выломиться из национальных и конфессиональных рамок и вообще выйти из-под контроля? И что массовые антиеврейские акции буквально загоняют евреев — и тоже в массовом порядке — в революцию?"

Плеве подождал, пока Герцль не отложит карандаш в сторону, и продолжил затем свои пояснения:

— Разумеется, благо высшего образования мы можем предоставить лишь ограниченному в процентном отношении числу евреев, потому что в противоположном случае у нас в обозримом будущем не осталось бы достойных вакансий для православных. Также я не упускаю из вида того, что материальное положение евреев в черте оседлости просто-напросто скверно. Согласен, они живут там, как в своего рода гетто, однако в гетто огромном — включающем в себя территорию тринадцати губерний. Ранее мы симпатизировали сионистскому движению, поскольку оно подталкивало евреев к выезду из страны. И вам не придется преподносить мне азы сионизма: я, что называется, в курсе дела. Но после минского конгресса мы обнаружили, что сионизм сменил курс. Теперь речь идет не столько об отъезде в Палестину, сколько о культурной автономии, о формах организации и об осознании себя евреями отдельной нацией. Честно говоря, нас это не устраивает.

Министр изумил Герцля знанием положения дел в деталях и лицах. Судя по всему, его регулярно и тщательно информировали о сионистском движении и о ростках, пущенных сионизмом в России. И, словно в подтверждение справедливости этих мыслей, министр поднялся с места и извлек из книжного шкафа увесистый том в коричневом переплете с золотым ободком — не книгу даже, а роскошную кожаную папку с бесчисленными донесениями о деятельности сионистов в России, проложенными изрядным количеством закладок. Листая папку и не без труда удерживаясь от злой усмешки, Плеве заговорил о тех из числа русских сионистов (называя каждого из них по фамилии), кто в той или иной мере находился в оппозиции к Герцлю. Похоже, эти люди не остановились бы ни перед чем, лишь бы подставить Герцлю подножку, и, кстати говоря, в некоторых случаях им это определенно удалось. Попытку Герцля перевести разговор на другую, не столь взрывоопасную, тему Плеве парировал, заведя речь о руководителе киевского кружка сионистов и начальнике тайного сионистского почтамта. Министр склонился над страницей, словно мучительно разбирая имя, которое было ему, разумеется, прекрасно известно. "Бернштейн-Коган", — произнес он наконец. Это был, по словам Плеве, непримиримый противник Герцля и, кроме того, человек, о котором в Петербуре знали как об активном участнике и одном из дирижеров развязанной в западной прессе антироссийской кампании.

Герцль решительно возразил министру:

— Ваше сиятельство, в это я просто не верю. Об этом человеке за границей практически никто не слышал. У него нет на Западе ни связей, ни достаточного авторитета. А что касается его оппозиционности по отношению ко мне, то это известный феномен, с которым довелось когда-то столкнуться еще Христофору Колумбу. Когда на исходе многих недель океанского плавания на горизонте так и не показалась суша, матросы принялись ругать своего капитана. Помогите мне поскорее найти сушу — и бунт на борту закончится. Да и отток моих сторонников в ряды социалистов прекратится тоже.

Последний аргумент казался Герцлю, осведомленному о тяготении части еврейского пролетариата в России к социалистичес-

ким идеям, особенно важным. И он четко осознавал необходимость предельно ясно растолковать министру альтернативу: "палестинский" политический сионизм противостоит сионизму социалистическому, который пропагандируют отдельные группировки как в Польше, так и в самой России. И пусть тот факт, что сам Герцль еще не пользовался поддержкой большинства русского и мирового еврейства и даже на конгрессах сионистов сталкивался с жесткой оппозицией собственным взглядам, лил воду на мельницу Плеве, сшить шубу из внутриеврейских противоречий министр был бессилен. Скорее, он поневоле должен был осознать, какую выгоду и для него, и для российской внутренней политики в целом сулит согласие на инициативы вождя политического сионизма.

Плеве позволил Герцлю договорить до конца. Откинулся в кресле, закинул ногу на ногу.

— Ну, и какой же помощи вы от нас требуете? — спросил он внезапно и без какого бы то ни было перехода от темы к теме.

Герцль перевел дух. Наконец-то дело дошло до главного. И начал излагать свою состоящую из трех пунктов программу: во-первых, действенное давление русского царя на турецкого султана; во-вторых, предоставление правительственной финансовой помощи эмигрирующим в Палестину евреям, на что должны пойти кредиты и субсидии исключительно еврейского происхождения; в-третьих, создание благоприятных условий для пропаганды идей политического сионизма в России, если эта пропаганда укладывается в рамки принятой на конгрессе в Базеле программы.

Лицо министра оставалось предельно бесстрастным, однако — по крайней мере, сию минуту — у него не нашлось возражений планам Герцля. Плеве попросил Герцля предоставить ему эти предложения развернуто, в письменном виде. Кроме того, ему захотелось заранее ознакомиться с тезисами доклада, который Герцль сделает на ближайшем конгрессе в Базеле, тем более что конгресс этот состоится сразу же по возвращении вождя сионизма из России.

Переговоры ощутимо клонились к концу. Плеве и Герцль, правда, успели коснуться еще нескольких вопросов, и министр счел возможным детализировать кое-что из высказанного им

ранее. Но у Герцля оставалась в запасе еще одна просьба к министру. Просьба деликатная, и он оттягивал этот разговор до последнего. Потому что ему было известно (и Корвин-Пиотровская подтвердила это), что Плеве в неважных отношениях с министром финансов Витте. Но, поскольку лорд Ротшильд отказал ему в рекомендательном письме, у Герцля не оставалось другого выхода, кроме как попросить о рекомендации самого Плеве. С особой тщательностью выбирая выражения, он изложил эту просьбу и не слишком удивился, обнаружив, что Плеве она пришлась явно не по вкусу.

"Эта рекомендация необходима", — торопливо добавил Герцль, потому что ему нужно попросить Витте о снятии запрета с деятельности Еврейского колониального банка, ведь данный запрет существенно затрудняет работу вожаков политического сионизма в России.

Плеве, на мгновение задумавшись, дал согласие предоставить рекомендацию, но добавил, что это ни в коем случае нельзя расценивать как официальное прошение одного министра на имя другого. Вопрос о том, принимать или нет Герцля, он оставит целиком и полностью на усмотрение министра финансов. Плеве уселся за письменный стол, написал примерно полуторастраничное послание графу Витте, вложил в конверт и тщательно запечатал его, прежде чем вручить Герцлю. Тот с напускным безразличием воспринял то обстоятельство, что рекомендацию ему предоставили в запечатанном конверте, хотя, разумеется, содержание письма интересовало его — и весьма. Однако, не подав виду, он поднялся с места, спрятал письмо в карман и попрощался с Плеве, не забыв напоследок испросить у министра еще одну личную аудиенцию — после того, как тот получит программу действий Герцля в письменном виде и ознакомится с нею. Плеве, кивнув в знак согласия, подал ему руку:

— Мне действительно было крайне интересно встретиться с вами, — и не сочтите эти слова за пустую формальность.

— Мне тоже, ваше сиятельство, — ответил Герцль. — Мне очень приятно получить личную аудиенцию у министра Плеве, о котором говорит вся Европа.

Плеве усмехнулся:

— О котором вся Европа говорит сплошные гадости!

И вновь Герцлю вспомнились славословия по адресу Плеве, расточаемые Корвин-Пиотровской.

— О котором говорят такое, что мне заранее стало ясно, что речь идет о человеке чрезвычайно значительном, — дипломатично ответил он.

На этом первая аудиенция Герцля у российского министра внутренних дел и закончилась. В вестибюле, прежде чем выйти на набережную, он наскоро пролистал сделанные в ходе разговора заметки и попытался сделать предварительные выводы. Безусловно умный человек этот Плеве — и к тому же хитрый. Так и не дал поймать себя ни на чем, мастерски отбивая любую подачу. Но чего другого следовало ожидать? Так или иначе, Герцль получил точку зрения российского правительства в некотором роде из первых рук. Оставалось запастись терпением, чтобы выяснить, тех же или других взглядов на еврейский вопрос придерживается Николай II. Плеве ни словом не обмолвился о самодержце — и поэтому Герцль, судя по всему, повел себя правильно, в свою очередь, даже не заикнувшись о содействии в получении высочайшей аудиенции. Об этом можно будет, наверное, попросить министра при следующей встрече. Кроме того, здесь, в Петербурге, даже если отвлечься от министра финансов Витте, конечно же, имелись и другие возможности, которые стоило прозондировать. Так или иначе, первый шаг сделан, и вторая аудиенция у Плеве уже обещана. Министр ждет тезисов в письменном виде — и он их получит.

Выйдя на набережную, Герцль не захотел брать извозчика. Ему нужно было собраться с мыслями, привести разрозненные впечатления и догадки в систему, — и прогулка пешком до гостиницы как раз предоставляла удобную возможность. Он перешел через Фонтанку и скорее наугад, чем повинуясь вообще-то мало уместному здесь чувству ориентации, углубился в лабиринт улочек и переулков, вновь выведший его в конце концов к какой-то реке или, пожалуй, каналу. Осведомившись у уличного разносчика, Герцль узнал, что перед ним Екатерининский канал и что, как объяснил словоохотливый торговец, достаточно пройти по нему несколько шагов, чтобы оказаться буквально рядом

с гостиницей "Европейская". Однако, погруженный в размышления о только что закончившейся аудиенции, Герцль пропустил нужный поворот и внезапно очутился перед массивной кованой оградой, за которой простирался обширный сад, виднелось больше, похожее на замок здание, и высился, вырастая чуть ли не из самых вод канала, великолепный храм со множеством разноцветных куполов и луковок, показавшийся Герцлю любопытным образом не вписывающимся в общий образ города, который, впрочем, открывался ему до сих пор, главным образом, из извозчичьих дрожек.

"Странное место для собора", — подумал Герцль, и, вернувшись в гостиницу, проинформировав Кацнельсона о встрече с министром и выслушав столь типичные для того ахи и охи, попросил рассказать о соборе.

— Собор Воскресения Христова, — пояснил Кацнельсон. — По стилю зодчества скорее московский или, по меньшей мере, новгородский. Однако есть особая причина тому, что его воздвигли именно здесь, в Петербурге. В точности на этом месте двенадцать лет назад взорвалась бомба, убившая Александра II, реформатора и освободителя. Собор воздвигнут в его память, и в народе его называют Спасом на крови.

— Вот уж город так город — на каждом шагу сталкиваешься с самой Историей, — задумчиво сказал Герцль. И Кацнельсон кивнул в знак согласия:

— Быть российским самодержцем — это чрезвычайно опасное занятие. За триста лет царствования династии Романовых насильственной смертью умерли шестнадцать венценосцев. Но Петербург и в этом отношении совершенно особый город. И его воздух погибелен не только для царей. Так, например, предшественник только что побеседовавшего с вами господина Плеве на посту министра внутренних дел был год назад застрелен террористом в Мариинском дворце, где заседает Государственный совет.

Герцль поневоле вспомнил о шекспировских трагедиях и исторических хрониках. И вновь подумал о министре внутренних дел: представил себе, как тот сидит, нога на ногу, в мягком кресле, — корректно и, вместе с тем, непринужденно. И внезапно у него возникло острое предчувствие сродни мгновенной

вспышке ясновидения. Перед его мысленным взором предстал совершенно другой Плеве: глаза закатываются, крахмальная сорочка залита кровью...

— Вам нехорошо? — испугался Кацнельсон. — Вы что-то вдруг побледнели.

Герцль покачал головой.

— Бывает, — сказал он.

Кацнельсон обеспокоенно поглядел на друга и вождя:

— Это всё здешний климат. К нему приходится привыкать. Особенно — в пору белых ночей. Говорят, что у людей с повышенной чувствительностью случаются в этот период галлюцинации. Прямо средь бела дня. Этот город и впрямь на любителя.

— Вздор! — ответил Герцль, вставая с места. И распорядился подать себе в номер кофе. — Крепчайший! — крикнул он вслед коридорному и тут же принялся сочинять письменные тезисы для министра внутренних дел. Но ему потребовалось определенное время, чтобы избавиться от "галлюцинации", как назвал его странное видение Кацнельсон, и от неприятного осадка, оставленного климатическим объяснением происшедшего. Но вот он разложил на конторке свои заметки, лишний раз пробежал их глазами и обмакнул наконец перо в чернильницу. Два раза он комкал лист с начатым было текстом и только с третьего ему удалось, восстановив душевное равновесие, непосредственно приступить к делу.

"Ваше сиятельство,

суть беседы, удостоить меня которой Вы не сочли для себя за труд, вкратце может быть сведена к следующему:

В намерении решить еврейский вопрос гуманным способом и тем самым воздать должное как требованиям российской государственности, так и потребностям еврейского народа, царское правительство сочло целесообразным поддержать сионистское движение, признав тем самым присущую ему тенденцию к законопослушанию.

Вышеупомянутая поддержка могла бы заключаться:

1. В действенном посредничестве Его Императорского Величества при решении проблем с турецким султаном. Речь идет о получении евреями хартии на колонизацию Палестины за вычетом

святых мест. Палестина при этом останется в составе Оттоманской империи. Но местную власть возьмет на себя ведомая и финансируемая сионистами колониальная администрация. Вместо сбора налогов с последующим перечислением в имперский центр эта администрация обяжется ежегодно выплачивать в султанскую казну взаимно обговоренную фиксированную сумму. Средства на это, как и на прочие расходы (общественные работы, образование и прочее), администрация предполагает изымать у новопоселенцев.

2. Правительство царской России окажет финансовую помощь иммиграции в Палестину, пустив на это деньги (включая налоговые выплаты) исключительно еврейского происхождения.

3. Правительство царской России облегчает законопослушную организационную деятельность русских сионистов в рамках Базельской программы. От воли Вашего сиятельства зависит, в какой мере и форме это будет доведено до сведения общественности. Наш Базельский конгресс, открывающийся 10 (23) августа, может в этом плане оказаться весьма полезным. Одновременно положив конец известным умонастроениям и волнениям.

Представляю на суд Вашего сиятельства нижеследующий текст объяснения, с которым предполагаю выступить на конгрессе:

"Я имею полномочия объявить, что царское правительство России намеревается в наших интересах просить у Его Императорского Величества посредничества перед турецким султаном в деле колонизации Палестины. Кроме того, царское правительство предоставит на цели эмиграции, возглавляемой сионистами, финансовые средства еврейского происхождения. И, чтобы дополнительно подчеркнуть гуманистический характер предпринимаемых мер, царское правительство намеревается в ближайшее время изменить черту оседлости в сторону ее расширения для тех евреев, которые пожелают остаться в стране".

Герцль перечитал написанное и отправил письмо на адрес Министерства внутренних дел. На данный момент никаких других дел у него просто не было.

За окнами с нетерпением дожидалась гостя российская столица, как, впрочем, ждала она каждого, кто приехал сюда впервые.

Но на круговую панораму, на реки с каналами, на дворцы по набережным Невы, на сады и парки в их летнем великолепии, — на всё это при первом восторженном проходе по городу просто-напросто не оставалось времени. И все же — куда от них денешься: от широкой и многолюдной магистрали Невского проспекта, от удлиненного здания Адмиралтейства со знаменитой "иглой" — уходящим в небо золоченым шпилем, от величественного Исаакиевского собора и от конной статуи Петра I работы французского скульптора Фальконе, послужившей Пушкину источником вдохновения в поэме "Медный всадник"! И наконец Стрелка — остроугольный мыс Васильевского острова, делящий Неву на два рукава неподалеку от места ее впадения в Финский залив.

Вот какова она, самая молодая из великих столиц Европы — ведь прошло всего двести лет с тех пор, как ее основал Петр I, по справедливости называемый Петром Великим не одними только русскими историками! Здесь, "из топи блат", восстала новая столица страны, провозглашенной империей, — город Санкт-Петербург, поразительно отличающийся от всей остальной России, как вычитал Герцль, готовясь к поездке в далекую северную страну. И другими, нежели в Москве, Киеве или Саратове, должны быть здешние люди — и не только потому, что Петербург они называют Питером, как объяснила Герцлю Корвин-Пиотровская. Они здесь и говорят, и живут по-иному. Никому из побывавших в Петербурге до Герцля или после него не удалось избежать очарования открывающейся со Стрелки панорамы, и сейчас он смотрел отсюда на оба берега реки сразу: слева — длинная Дворцовая набережная с Эрмитажем, он же Зимний дворец царей, и Летним садом вдали; справа — устремленный в небеса золотой купол Исаакия, а на противоположном берегу мрачные бастионы Петропавловской крепости, в которых веет самой Историей. Крепость, возведенная Петром I как опора в войне со шведами, использовалась затем как узилище, в котором томились — порой до самой смерти — русские вольнодумцы, как, например, мятежники из аристократической и офицерской среды, восставшие 14 декабря 1825 года против императора Николая I. Конечно, это величавое зрелище про-

извело впечатление и на Герцля, но, не будучи ни туристом, ни зевакой, он не мог позволить себе бесцельного любования. Он уловил некое напряжение, существующее между царским дворцом на одном берегу и казематами Петропавловской крепости на другом, он вздрогнул, услышав пушечный залп, громыхнувший над водами. С Петропавловки палят ровно в полдень, так заведено с Петровской поры, пояснил ему Кацнельсон. И вновь Герцль вспомнил давным-давно ставшее крылатым выражение: "Россия — варварская страна"; разумеется, это всего лишь клише, но наверняка не лишенное смысла. Он понимал, что у столицы есть лицо, фасад, парадная сторона, тогда как ее подлинная жизнь протекает не на виду; он сам столкнулся с этим при встрече с министром внутренних дел дьявольски умным антисемитом Плеве. И у него не было никаких иллюзий и относительно живущего в Зимнем дворце самодержца: тоже антисемит, пусть и в овечьей шкуре, — и все равно к нему необходимо пробиться, иначе русская миссия Герцля так и останется безуспешной.

Первая возможность вступить в контакт с лицами, имеющими определенный доступ к царскому двору, представилась уже во второй половине дня. В гостях у Корвин-Пиотровской Герцль познакомился с неким Максимовым — сдержанным, но доброжелательным господином либеральных взглядов, судя по всему, обладающим самыми широкими связями.

В сопровождении Максимова и неотлучного Кацнельсона Герцль отправился в расположенный примерно в тридцати километрах от Петербурга Павловск — своего рода, как показалось ему, петербургский Потсдам. Павловский дворец был воздвигнут императором Павлом I, сыном Екатерины Великой, — и теперь царственный отпрыск по-прежнему красовался здесь, разумеется, уже в бронзе; величественная поза и покрой мундира оказались явно позаимствованы у его идола и кумира — прусского короля Фридриха II. В настоящее время во дворце проживала вдовствующая императрица. Герцль, однако же, направлялся не к ней, а к ее отставному гофмаршалу и когдатошнему флигель-адъютанту великого князя Константина генералу Алексею Александровичу Кирееву, которого Корвин-Пиотровская

описала ему как обаятельного и прекраснодушного старца, на протяжении многих лет дружащего с нынешним министром внутренних дел. Однако она, скорее всего, по известным лишь ей самой причинам не поведала Герцлю о "славном" прошлом этого старца, ровно сорок лет назад, в 1863 году, кроваво подавившего польское восстание и инициировавшего как судебную, так и внесудебную расправу над так называемыми политическими преступниками. Было это, конечно, в далеком прошлом, но такое прошлое в существенной мере предопределяет и будущее. Так и только так ведет себя История. На момент появления Герцля семидесятилетний отставной генерал превратился в последователя известного писателя-славянофила Ивана Аксакова, вождя слывущего реакционным и обладающего панславистскими тенденциями общероссийского славянофильства. Что тоже не было добрым предзнаменованием. Но опасения Герцля столкнуться с обладающим бульдожьей хваткой отставным воякой или закосневшим в собственной тупости православным реакционером развеялись уже в ходе обмена приветствиями как совершенно безосновательные. Киреев оказался милым и прекрасно образованным джентльменом старой школы, отменно осведомленным о проходящих в российском обществе процессах и бегло говорящим по-немецки, по-французски и по-английски. Рассказ Герцля о его русской миссии и петербургских планах старик выслушал с нескрываемым интересом. Хотя и не в его власти организовать Герцлю аудиенцию у государя, с явным сожалением сказал генерал, но он в силах написать рекомендательное письмо на имя члена Государственного совета Гартвига, который одновременно является директором азиатского департамента Министерства иностранных дел и президентом Императорского палестинского общества. А вот у Гартвига есть связи, ведущие чуть ли не к самому трону. И в любом случае беседа Герцля с Гартвигом окажется куда более полезной, чем встреча с самим Киреевым, хотя последняя и показалась генералу исключительно поучительной и приятной.

Ничего большего в Павловске достичь не удалось, да Герцль на это и не надеялся. Удовлетворенный достигнутым на данный момент, он воротился в Петербург. Конечно, сделанный шаг

может оказаться и бесполезным (да и в любом случае польза от него если и проявится, то разве что впоследствии), но именно такие мелкие — а порой и в пустоту — шажки приведут его в конце концов в царский дворец на Неве, который он разглядывал со Стрелки Васильевского острова, живо воображая предстоящую аудиенцию у государя. Которой надо было еще добиться. "Ваше Величество, — скажет царю Герцль, — судьба российского еврейства в ваших руках; предоставьте ему послабления, в которых оно так остро нуждается!.." Однако произносил эти слова не политик Герцль, а драматург, видящий "картинку" на сцене и озвучивающий находящихся на ней персонажей. Это же у Шиллера, в "Дон Карлосе", третий акт, десятое явление, маркиз Поза говорит королю Филиппу: "Опередите королей Европы / Один лишь росчерк Вашего пера / И новый мир возникнет. Подарите / Свободу мыслей". Так подумалось мимоходом, на обратном пути в "Европейскую" по Невскому проспекту, мимо Казанского собора с полукружием колонн, у которых толпятся нищие. Парадный подъезд Петербурга, воплощающий власть или деньги, или и то и другое сразу!

Следующее театральное действие. Может быть, всего лишь интерлюдия, однако необходимая и вместе с тем неизбежная. О пребывании Герцля в "Европейской" стало известно петербургским сионистам, хотя он буквально с вокзального перрона по возможности уклонялся от встречи с ними. Дополнительные осложнения ему ни к чему. Краткий визит к известному врачу-ординатору Александровской больницы и активному сионисту И. Я. Тувиму был уже, строго говоря, нарушением взятого им на себя обязательства держаться предельно замкнуто. Но петербургские сионисты оказались настырными, да ведь у них (как перед тем у их товарищей на вокзальных перронах Варшавы и Вены) и впрямь имелось право поприветствовать Герцля лично, пусть ему самому этого не хотелось, так как такие встречи грозили лишними неприятностями. Сионисты постарались доставить Герцлю приглашение на банкет в его честь в одном из еврейских ресторанов Петербурга. Он было заколебался, хотел даже отказаться, но на него надавили. В особенности настаивал

на участии Герцля в банкете председатель сионистской организации Санкт-Петербурга Семен Вайсенберг, являющийся одновременно ключевым членом "Общества за еврейскую эмиграцию". "Отказ от приглашения, – сказал он, – по какой угодно причине, окажется для петербургских сионистов полным афронтом и дополнительно омрачит их и без того беспросветную жизнь. Такого пренебрежения не поймут ни в Петербурге, ни в других городах страны, прежде всего в Одессе, где, вопреки всему, набирает силу "Общество по поддержке еврейских землепашцев и ремесленников в Сирии и Палестине", без устали хлопочущее над тем, чтобы снабдить хоть какими-то средствами нищих новопоселенцев на Ближнем Востоке".

– Да есть ли у вас, в венском центральном бюро, хоть малейшее представление о том, в каких невыносимых условиях нам приходится работать? – задал риторический вопрос Вайсенберг. – Мне известно, что вы получаете из России отчеты и письма и встречаетесь на конгрессах с нашими делегатами, но всё это жалкие крупицы по сравнению с тяжким бременем нашей повседневной действительности! Ваши переговоры с правительством и, в частности, с министром внутренних дел Плеве, это одна сторона вопроса, бесспорно имеющая огромное значение, – на сей счет у меня нет никаких сомнений; но нам нужно и ваше появление в товарищеском кругу петербургских сионистов, нужно ваше выступление перед ними, ведь у нас тут имеются серьезные разногласия, а кое-кто придерживается совершенно нелепых взглядов на сионизм. Ваша речь, д-р Герцль, и не издалека, а отсюда, обращенная непосредственно к ним, вдохнет в петербургских сионистов новое мужество, придаст им дополнительных сил – и эхо этой встречи разнесется по всей стране. Взвесьте все это.

– Уже взвесил, – ответил ему Герцль. – Еще по дороге в Россию я понял, что здесь существует не только еврейский вопрос, но и "сионистский вопрос". Не будем касаться конкретных имен, они прекрасно известны нам обоим. – Герцль позволил себе усмехнуться. – Я принимаю приглашение. Давайте и впрямь призовем товарищей к единству. Да, кстати, а чем нас будут угощать? Чем-нибудь, что в России слывет кошерным?

— Да, а на десерт подадут то, что слывет кошерным у сионистов, — ответил Вайсенберг. — Пальчики оближете.

Через пару дней после торжественного обеда, устроенного петербургскими сионистами в честь Теодора Герцля в одном из изысканнейших еврейских ресторанов города, в русско-еврейской газете "Будущность" появилась заметка о прошедшем мероприятии, и Герцль попросил Кацнельсона перевести ее для него.

"В Петербурге доктор Герцль прилагал всевозможные усилия во избежание случайных или нежелательных встреч и даже не сообщил никому, где соизволил остановиться. Но, несмотря на это, он уступил просьбам и принял приглашение на званый обед в его честь, который прошел в среду, 30 июля, вечером, в одном из еврейских ресторанов. За столом собрались около сорока человек — члены сионистского кружка, возглавляемого С. Е. Вайсенбергом (заместителем руководителя сионистским движением петербургского региона; председатель Г. А. Белковский пребывает в настоящее время за границей), и представители еврейской прессы столицы.

Речей на банкете почти не держали. Были зачитаны краткие приветствия дорогому гостю от имени сионистов (это сделал д-р И. Я. Тувим) и от лица еврейской прессы (главный редактор "Будущности" д-р С. О. Грузенберг). Л. А. Рабинович сделал доклад на языке идиш. Д-р Герцль ответил ему чрезвычайно интересной речью, в которой изложил свое видение современного сионизма и того состояния, в котором тот на данный момент находится.

Всё несчастье состоит в том, заявил д-р Герцль, что сионизм отклонился от своей первоначальной программы — четкой, точной, понятной всем и каждому и позитивно воспринимаемой внешним миром. Программы, которая предусматривает создание в правовом смысле защищенного еврейского национального очага на территории Палестины. Евреям, увы, свойственно находить себе, помимо основной профессии, какой-нибудь побочный промысел. Вот и сионисты дополнили исходную программу несколькими побочными, начиная хотя бы с программы культурного развития. И в результате, сейчас уже мало кому понятно, что

же такое на самом деле представляет собой сионизм. На Минском съезде была допущена колоссальная ошибка, выразившаяся в том, что слишком много времени и внимания оказалось уделено чуждым собственно сионизму и крайне спорным вопросам вроде культурной программы, экономической деятельности и тому подобное, в результате чего партия едва не раскололась надвое. Необходимо вернуть сионизм в прежнее и по-прежнему надежное русло, предначертанное Базельской программой. Ни в коей мере не оспаривая того факта, что интеллигентный еврей может и должен заботиться об улучшении положения всего еврейства в стране проживания, оратор вместе с тем задал вопрос: какую роль в этом должен сыграть сионизм, являющийся подчеркнуто всемирным движением? Если российского еврея интересует положение дел в России, то с какой стати оно должно волновать еврея австрийского или английского? То есть евреи, проживающие в разных странах, не могут на этой основе выработать единую линию. Объединить их может только общееврейское дело, непосредственно затрагивающее судьбы всего народа, то есть чистый политический сионизм без каких бы то ни было региональных добавок и влияний.

Оратор закончил формально блестящую и дышащую предельной откровенностью речь пламенным призывом к возвращению сионизма в былые рамки. "Я тут приезжий, я в Петербурге чужак, но для вас, для тех, кто меня хорошо знает и кого хорошо знаю я, я не являюсь ни чужаком, ни приезжим. Я говорю с вами, как старый друг, не желающий, чтобы между нами оставались недоразумения и недомолвки. Я говорю: вы, находящиеся в самом центре движения и определяющие общественное мнение всего еврейства, должны пропагандировать сами и добиваться от других того, чтобы наше движение оставалось чисто сионистским — и никаким другим!

Всё побочное и привходящее нам только мешает, а то и вредит, и должно быть искоренено, как искореняют сорные растения!"

Можно предположить, что Герцль ожидал от газетного отчета большей восторженности, и сделанный Кацнельсоном перевод

не больно-то обрадовал его. К тому же, он не сомневался в том, что и министр внутренних дел ознакомится со статьей и почерпнет из нее дополнительное подтверждение уже имеющимся у него сведениям о наличии разногласий в сионистском движении. Конечно, эти факты и без того собраны у Плеве в коричневом фолианте; теперь их, однако же, предали огласке — причем не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге! А как раз этого, наряду с прочим, Герцлю хотелось избежать. Может быть, ему все же стоило отклонить приглашение на званый обед, но теперь уж ничего не изменишь, а утешаться остается лишь тем, что ему удалось извлечь из ситуации максимальную выгоду. Разве полная открытость по определенным вопросам не оказывается порой проверенным средством из дипломатического арсенала? И, не исключено, эту статью в "Будущности" имеет смысл воспринять как ответ на антисемитские и антисионистские выпады в националистической петербургской прессе. Так, самая крупнотиражная, влиятельная и вместе с тем пользующаяся не лучшей репутацией газета "Новое время" еще до приезда Герцля опубликовала целую серию статей по еврейскому вопросу в связи с предполагаемым прибытием "венского еврея".

В одном из июльских номеров "Нового времени" была опубликована статья некоего Скалковского под названием "Об облегчении эмиграции". Сделав экономический и демографический обзор состояния дел в России и указав на угрозу переполнения страны "инородцами", Скалковский высказался в пользу нацеленных на эмиграцию из России движений, поскольку, на его взгляд, массовый отъезд облегчит ситуацию, драматически осложненную техническим прогрессом и вытекающим из него непропорционально быстрым ростом пролетариата. А дальше он написал следующее: "...не только в экономическом, но и в политическом плане подобную эмиграцию следует признать полезной. С ее помощью мы избавимся от избыточного количества пролетариев и от литовского, тюркского и еврейского элемента, чуждого нашему народу в языковом и религиозном отношении, то есть укрепим тем самым религиозное и национальное единство России... Еврейский вопрос — причем не имеет значения, с какой именно точки зрения, — и не может быть

решен иначе, кроме как эмиграцией. Россия не в состоянии прокормить семь-восемь миллионов евреев. Половина этого колоссального количества с легкостью найдет применение своим способностям в области торговли на других материках и континентах. Можно только пожалеть о том, что в эпоху, когда многие другие государства буквально зазывают к себе евреев и дают им всяческие поблажки, мы не только не предпринимаем мало-мальски серьезных усилий для организации процесса эмиграции, но, прямо напротив, пускаем к себе десятки тысяч румынских и галичских евреев.

Я говорю о "серьезных усилиях", потому что ограничительные меры оказываются недостаточными; следует закачать в соответствующие фонды огромные деньги и тем самым создать режим наибольшего благоприятствования выезду и выселению еврейского пролетариата из России в другие страны, с тем чтобы у него не возникло искушения вернуться в черту оседлости. Если бы мы ассигновали на это половину средств, пошедших на восстановление Болгарского княжества или на строительство железнодорожной ветки в Маньчжурии, еврейский вопрос был бы тем самым на две трети решен".

И в качестве своеобразного отклика на приезд Герцля в Петербург "Новое время" осведомило широкую общественность:

"Нам передали рукопись, представляющую собой перевод протоколов заседаний мирового масонства и так называемых сионских мудрецов. Ознакомиться с этим материалом полезно хотя бы потому, что это позволит читателю еще лучше уяснить себе еврейский вопрос и вследствие этого осознать, что всему христианскому миру грозит победа еврейства и реализация идеи общеевропейского плутократического сверхправительства, — и угроза эта особенно сильна сейчас, когда для достижения данной цели появилось столь могучее оружие, как сионизм, призванный объединить мировое еврейство в организацию, еще более сплоченную и опасную, чем орден иезуитов".

Правда, Герцль не прочитал этих клеветнических строк, но это было бы и без надобности. И без того он был отлично осведомлен о том, какими средствами пользовалась национали-

стическая пресса, нагнетая и отравляя атмосферу; осведомлен и о том, какому поношению подвергалась русско-еврейская печать: "Вся русская пресса скуплена евреями, и если дело так пойдет и дальше, евреям даже не понадобится Сион, потому что свое царство они уже создадут – в России".

Развернутый отчет о встрече Герцля с петербургскими сионистами в еврейском ресторане, напечатанный в "Будущности", представлял собой попытку полемики – благонамеренную, несколько неуклюжую, но вполне понятную. Герцль осознавал щекотливость ситуации, сложившейся в прессе; в конце концов он и сам некогда начинал как журналист. Собаки лают, а караван идет. Так наверняка (особенно после личной встречи с Герцлем) оценит ситуацию и Плеве. Общественное мнение – это одно, а государственные интересы – совсем другое.

И все же Герцль счел необходимым отдельно встретиться с редакторами, публицистами и репортерами, представляющими в Петербурге голос российского еврейства. Он принял их у себя в апартаментах, и "Будущность" откликнулась и на это:

"В субботу, 2 августа, в 10 утра в апартаментах Герцля в гостинице "Европейская" собрались по его приглашению редакторы выходящих в Петербурге еврейских печатных изданий. В узком доверительном кругу д-р Герцль изложил собственное понимание ситуации, сложившейся с сионизмом, а также поделился впечатлениями от уже состоявшихся петербургских встреч".

Доверительной атмосферу в апартаментах Герцля в ходе этой встречи назвали с изрядным преувеличением. Правда, на нее были приглашены представители исключительно еврейской прессы Петербурга, но ведь и они были по определению журналистами, а значит, волей-неволей задавали неудобные вопросы. Конечно, Герцлю как бывшему журналисту и венскому собкору в Париже было неудобно, даже неприятно сознательно обходить скользкие места или отделываться пустыми отговорками, каких и ему самому пришлось выслушать немало, но он не имел права ставить свою миссию под угрозу срыва. Так что он главным образом изъяснялся общими местами, рассуждая о том, в какой ситуации находится сионизм, или рассказывая – порой трезво и честно, порой подчиняясь минутному порыву – о своих петер-

бургских впечатлениях, как это и написано в газетной заметке. И, судя по всему, петербургские журналисты поняли его вынужденную скрытность, потому что в их статьях по этому поводу не было ничего, что лило бы воду на антисионистскую мельницу министра внутренних дел Плеве или министра финансов Витте, аудиенции у которого Герцлю еще только предстояло добиться.

Кем же был этот граф Сергей Юльевич Витте, политический противник и личный враг Плеве, как не без нажима сообщила Герцлю Корвин-Пиотровская? Еще раз заглянем в Энциклопедический словарь Мейера 1903 года издания: "Российский государственный деятель, родился 29 июля 1849 года в Тифлисе, немецкого происхождения, изучал естественные науки в Одессе... В 1892 году стал министром финансов. Восстановил разрушенную систему государственных финансов, в 1899 году ввел золотое обеспечение российской валюты, провел реформу акцизов на алкоголь, ввел новое Паспортное уложение, начал огосударствление железных дорог, отменил коллективную ответственность членов общины и облегчил условия выхода из нее, заключил множество международных соглашений о торговле, в том числе и в особенности – с Германской империей. В 1903 году назначен председателем кабинета министров".

С этим, пожалуй, достаточно. Кроме того, в подобных справочниках, как правило, не рассматриваются личные качества. Поэтому и в случае с Витте необходимо кое-что добавить. Председателем кабинета министров он, кстати говоря, стал лишь через несколько месяцев после визита Герцля в Россию. Витте сделал сказочную карьеру еще в царствование Александра III, безграничным доверием которого пользовался. Император Александр оказал ему совершенно неслыханную по тогдашним временам милость, разрешив жениться на еврейке из буржуазной среды, к тому же разведенной (она побывала замужем тоже за евреем – владельцем популярного в кругах столичной интеллигенции петербургского ресторана). Эта во многих отношениях "недостойная" женитьба существенно навредила репутации Витте в обществе и, прежде всего, при дворе, где супругу министра

откровенно и демонстративно игнорировали. К тому же, упорно гулял слух о том, что Витте "выкупил" жену у бывшего мужа, заплатив ему двадцать тысяч рублей отступного. Правдой это было или нет, а если да, то в какой степени, — так или иначе придворные интриганы вовсю пользовались этими слухами, активно вредя карьере Витте, особенно во вновь начавшееся царствование Николая II. Но, вопреки всему, он сумел стать одной из ключевых фигур в царском правительстве. Выдающиеся способности государственного деятеля, не раз проявленные и доказанные им как при Александре, так и при Николае, служили тому залогом. Пост министра финансов, в руках у которого находились не только денежные потоки, но и чуть ли не вся экономика гигантской страны, снабдил его властью, сопоставимой разве что с могуществом министра внутренних дел. Над упрочением которой Витте без страха и сомнения работал и в царствование Николая II. Поэтому не особенно удивляешься, обнаружив у одного из позднейших биографов следующие строки, характеризующие его личность: "Как государственного деятеля Витте выделяло редкое в среде высшей российской бюрократии свойство — он был прагматиком и обладал поразительной способностью кардинально менять взгляды в зависимости от обстоятельств. Прагматическим подходом, граничащим с беспринципностью, он частенько шокировал современников".

И вот Герцль готовился к встрече с этим человеком.

Вечер перед аудиенцией у Витте Теодор Герцль провел на Гороховой, 26, у Корвин-Пиотровской. Еще после первого визита к ней Герцль размышлял над тем, кого же напоминает ему очаровательная полька. И теперь понял это. Она напомнила ему англиканского проповедника Вильяма Хехлера, который некогда, внезапно появившись в венском кабинете Герцля, предложил, вернее, практически навязал ему посреднические услуги, а впоследствии и впрямь сумел через известного либерала великого герцога Баденского добиться для вождя сионизма аудиенции у германского императора. Примечательно и, пожалуй, даже символично было то обстоятельство, что Герцлю вновь и вновь удавалось находить людей, не входящих в сионистское движение и не примыкающих

к нему — и, тем не менее, с воодушевлением и порой с изрядной пользой оказывающих добровольные услуги.

Пиотровская сообщила Герцлю, что Плеве накануне доверительно сказал ей, что таких людей, как этот гость из Вены, он с удовольствием назначал бы начальниками департаментов в собственном министерстве. Этот комплимент, подчеркнула гостья, прозвучал вполне обнадеживающе. Герцль нашел этот отзыв забавным, но, вне всякого сомнения, приятным. Судя по всему, ему удалось произвести на министра большее впечатление, чем показалось на первый взгляд. Возможно, это послужит залогом новой аудиенции у министра внутренних дел. Однако сначала надо было побывать у министра финансов.

Стояло воскресное утро, когда Герцль, сопровождаемый непривычным для него звоном колоколов православных церквей и соборов, отправился на Каменный остров, на котором находились летние усадьбы (так называемые дачи) немалой части петербургского общества. Под колокольный звон ему вспомнилась фраза из книги Александра Дюма-отца "Путешествие в Россию", которую он прочитал в бытность корреспондентом в Париже: "В Петербурге хотя и нет сорока сороков церквей, которыми некогда славилась Москва, но сорок шесть церквей, соборов и кафедралей, сто вспомогательных церквей и сорок пять часовен здесь все же имеется, а в них звонят в общей сложности шестьсот двадцать шесть колоколов!" И Герцлю казалось, будто все эти колокола затрезвонили разом, чтобы продемонстрировать лично ему граничащее со всевластием могущество православия, недаром же отголоски этого всемогущества чудятся ему чуть ли не в каждом здешнем разговоре. А того, что за его дрожками на некоторой дистанции следовали вторые и в них сидела та же секретная сотрудница охранки, которая встретила его еще на вокзале, он просто-напросто не заметил. К тому же, на Каменный остров спешило сейчас изрядное количество экипажей.

Живописный и чуть ли не идиллический пейзаж явился Герцлю, стоило ему переехать речку Карповку. Такая местность словно нарочно была создана для открытой раскованной бесе-

ды — однако, разумеется, в другое время и при иных обстоятельствах. Потому что сейчас Герцля ожидала аудиенция у графа Витте, всемогущего министра финансов и, как рассказала Корвин-Пиотровская, человека, который в отличие от большинства соотечественников и земляков, отличался вкусом, — то есть не пил водку с утра пораньше, предпочитая шампанское, и вообще жил по-княжески. Уже сам загородный особняк Витте, к которому подъехал сейчас Герцль, прозванный в петербургском свете Белым домом, со своей колоннадой и балконом с фасада, свидетельствовал о своенравии и амбициозности владельца. Особняк наверняка должен был произвести внушительное впечатление на любого — проезжай он мимо или прибудь в гости к министру, — и в случае с Герцлем это тоже сработало. Сколько доверительных и вместе с тем судьбоносных разговоров протекло в этих стенах, сколько нитей и ниточек, оплетающих всю необъятную страну, были свиты здесь воедино — и концы их по-прежнему оставались в руках у Витте. Перед самым визитом сюда Герцль узнал от поразительно хорошо осведомленной в петербургских интригах Корвин-Пиотровской, что министр совсем недавно принял здесь депутацию российского еврейства во главе с банкиром и бароном Гинцбургом. Скорее всего, сказала полька, речь шла о русских зарубежных займах, потому что догадка Витте о том, что на займы эти подписываются за границей еще в меньших количествах, чем раньше, в знак протеста против антисемитской внутренней политики российского правительства, была справедливой; больше того, в петербургских и московских банковских кругах из этого не делали тайны. То есть министр был не против принять у себя в особняке даже евреев, если эта встреча сулила ему выгоду и, вместе с тем, провести ее в служебных помещениях министерства представлялось неуместным. И его супруга-еврейка, которую он просто обожал, такое решение наверняка приветствовала. Кстати говоря, как перешептывались в петербургских салонах, будучи в компании и пребывая в прекрасном расположении духа, графу случалось шутя обстреливать жену скатанными из хлеба шариками, если она высказывала мнение, противоположное его собственному.

Но министр знал или, самое меньшее, подозревал, что царь через его голову манипулирует подданными, натравливая их друг на друга. Или он об этом даже не догадывался? Неподалеку от Министерства финансов находилось здание, мимо которого порой проходил сам Витте, а в нем — принадлежащая полиции типография, где печатались — с последующим распространением по всей стране — антисемитские листовки. По крайней мере, Витте изрядно удивился, когда директор Департамента полиции Лопухин сообщил ему об этом. Что это было: и впрямь наивность или, может быть, брезгливость? Так или иначе, многоликий человек этот граф Витте, не зря же из уст в уста передают его высказывание: "Революционеров надо не сажать в тюрьму, а покупать, и я их куплю".

Позже Герцль выразит первые впечатления от встречи с Витте в дневниковой записи: "Он не заставил меня томиться в прихожей, однако же не выказал ни малейшей любезности. Высокий, тучный, некрасивый, сурового вида мужчина лет шестидесяти. Странным образом крючковатый нос, кривые ноги, несоразмерно маленькие ступни и из-за них — дурная походка. В отличие от Плеве, обдуманно сел спиной к окну, в результате чего свет падал на меня одного. По-французски говорит крайне скверно. Иногда перевирал слова или долго мучился в поисках нужного, что создавало комическое впечатление. Но так как он держался со мной неучтиво, я не спешил ему на помощь".

Должно быть, эти первые минуты аудиенции и впрямь протекали забавно, потому что после того, как Герцль представился и изложил свое понимание еврейского вопроса так, чтобы он, как и в разговоре с Плеве, выглядел трудноразрешимой проблемой прежде всего российского правительства, граф Витте отреагировал чуть ли не грубо: вот уж на что российскому правительству наплевать, так это на еврейский вопрос. Другое дело, что кое-кто из членов кабинета думает по-иному.

Укол по адресу Плеве? Возможно. Что ж, тем более надо избегать даже упоминания имени министра внутренних дел. Судя по всему, рекомендательное письмо к нему, написанное Плеве по просьбе Герцля, граф Витте всего лишь пробежал гла-

зами и равнодушно отложил в сторону. Но еще удивительнее оказалась для Герцля следующая реплика министра финансов:

— Вы хотите возглавить исход евреев? А сами-то вы кто? Еврей? И вообще, с кем я разговариваю?

Что за бесцеремонность! Похоже, Витте хочет вывести его из себя еще до начала переговоров? Уж, по меньшей мере, он должен был знать, кого именно согласился принять в домашних условиях. Да и как же иначе? Однако замешательство Герцля продлилось всего несколько мгновений, а затем он твердо и недвусмысленно заявил, что является не только евреем, но и вождем сионистского движения.

Витте изумленно поднял брови, огладил короткую седую бородку и пронзительно посмотрел на Герцля:

— А о содержании нашего разговора никто не узнает?

— Абсолютно никто! — решительно и не заколебавшись ни на мгновенье ответил Герцль, и это явно произвело благоприятное впечатление на Витте.

Напряжение, возникшее с самого начала встречи, пошло на убыль. Граф сел чуть свободнее и разразился пространным монологом.

Он начал с имеющихся против евреев предубеждений, подразделяя их на благородные и не совсем честные. Благородные и честные предубеждения государя (а кто посмел бы усомниться в его благородстве и честности?) имеют главным образом религиозную основу. Но есть и куда более материалистические предубеждения, спровоцированные еврейской конкуренцией в сфере экономики и финансов, то есть, строго говоря, самими евреями, наконец, есть люди, придерживающиеся антисемитизма как моды или как неотъемлемой части собственной профессиональной деятельности. В последнем случае речь идет по преимуществу о журналистах. И отдельного упоминания заслуживает один московский журналист из выкрестов (то есть из крещеных евреев), обладающий всеми специфически еврейскими качествами, и прежде всего отрицательными, и практикующий самую подлую клевету на соплеменников.

Тут Герцль ввернул, что и ему известны подобные мерзавцы, и назвал имя одного парижского щелкопера, однако нельзя же по двум-трем выродкам судить о еврейской журналистике в целом. Витте пренебрежительно отмахнулся от него.

— Москвич еще хуже, чем парижанин, — сказал он. — Однако нельзя не признать, что сами евреи предоставляют прочим людям множество поводов для вражды. Например, характерное для богатых евреев хвастовство достигнутым. Большинство евреев, однако же, — продолжил Витте, — живут в нищете и в грязи и производят отвратительное впечатление хотя бы в силу этого. К тому же, они занимаются мерзкими промыслами вроде сводничества и ростовщичества. Поэтому даже друзьям евреев, защищая их, приходится нелегко.

Герцль почувствовал, что эти слова ужалили его в самое сердце. Не только потому, что подобной аргументацией он был сыт по горло; более того, с самой юности он питал неприязнь к определенному еврейскому типу, выведенному в одном из его сочинений под именем "Mauschel" и изображенному как некое извращение самой природы человека, существо подлое и отвратительное, в бедности — жалкая размазня, а в богатстве — хам и хвастун. Такой тип представляет собой подлинное проклятие для всего еврейства, поставляя все новые и новые поводы для антисемитизма и тем самым объективно вредя единоверцам и соплеменникам. Самим своим сионизмом Герцль резко дистанцировался от данного типа во имя всего еврейства и его лучезарного будущего. И вот сейчас он очутился на самом изысканном острове Петербурга с глазу на глаз со всемогущим министром финансов и поневоле выслушивает от него юдофобские высказывания, на которые не может даже возразить, не ввязавшись в обстоятельные дебаты о самой природе еврейства. Поэтому Герцль ограничился в ответ лишь такой сентенцией: о сильных народах люди говорят с оглядкой на их лучших представителей, а о слабых — с оглядкой на худших.

Самым же поразительным для Герцля стало признание Витте в том, что он сам является "другом евреев". Впрочем, у вождя сионизма были все основания сомневаться в искренности этих слов — тем более на фоне всего сказанного министром финансов ранее. Или Витте и впрямь убежден в собственном юдофильстве? Герцль мысленно прикинул, как повел бы себя на месте графа юдофоб. Но, прежде чем он успел додумать эту мысль до конца, Витте ошарашил его новым — и на сей раз

наверняка лишенным малейшего лукавства — высказыванием, которое представляло собой попытку оправдать свою широко известную всему Петербургу позицию. За евреев, сказал Витте, заступаться тяжело, потому что все начинают думать, будто они тебя купили. Впрочем, он сам не придает этому никакого значения, поспешно присовокупил министр.

— Мужества у меня достаточно, — не без самолюбования произнес он. — Да и моя репутация столь безупречна, что под нее не подкопаешься. Однако люди боязливые или, напротив, чересчур пекущиеся о собственной карьере, страшатся такой реакции и предпочитают выставлять себя антисемитами.

Последняя стрела, как и кое-что из сказанного ранее, явно была пущена по адресу министра Плеве, а возможно, и всей придворной камарильи. Витте почувствовал, что Герцль правильно понял его, и вернулся в отправную точку собственного монолога. И заговорил словно с профессорской кафедры:

— А тут еще возник новый и чрезвычайно важный фактор: участие евреев в движениях, ставящих себе целью свержение существующего режима. Население России составляет сто тридцать шесть миллионов человек, евреев среди них всего семь миллионов, а вот в революционистских партиях их никак не меньше половины.

И на вопрос Герцля о том, по какой причине это, на взгляд Витте, происходит, тот после некоторого раздумья ответил:

— Полагаю, в этом виновато наше правительство. Слишком уж оно давит на евреев. Я частенько говаривал почившему в бозе императору Александру III: "Ваше Величество, если бы шесть или семь миллионов человек можно было утопить в Черном море, я был бы за это всей душою. Но поскольку это невозможно, надо создать им определенные условия для жизни". Такова была моя точка зрения — и она не изменилась. Я противник новых гонений и дальнейшего угнетения.

Выслушав это откровение, Герцль пришел в некоторое замешательство. Сам по себе этот эвентуальный замысел массового истребления евреев, пусть и сформулированный многие годы назад в разговоре с предшественником нынешнего императора, не столько потряс его, сколько позволил наконец разобраться с

тем, что за человек сидит напротив. Витте не был хитрым лисом, подобно министру Плеве; нет, он был пусть и самовлюбленным и даже, возможно, страдающим манией величия, но несомненно всё тщательно просчитывающим бюрократом, позволяющим себе говорить о евреях как о паразитах, заведшихся в шкуре русского медведя, которому надо было, оказывается, всего лишь разок искупаться в Черном море, чтобы избавиться от них раз и навсегда. Такова была суть тогдашних слов Витте, от которых он не думал отрекаться и сейчас. И никаких новых гонений и дальнейшего угнетения! А как быть с гонениями уже существующими, с угнетением повседневным? Или Витте полагает, будто нынешнюю ситуацию удастся удержать на длительное время? Вроде бы так.

— Россия, — сказал Витте, — обладает колоссальным терпением, которого за границей недооценивают. Мы выносим боль — в том числе и постоянную — как никто другой.

— Россия! — вскричал Герцль. Ему все труднее было сдерживать охватившую его ярость. — Я, ваше сиятельство, говорю не о России, а о евреях. Неужели вы полагаете, будто столь отчаянное положение будут терпеть они? И терпеть не известно до каких пор?

— Но где же выход? — поинтересовался Витте.

То был первый раз на протяжении всей беседы, когда министр задал посетителю вопрос, не являющийся сугубо риторическим. Наконец Герцль получил возможность более или менее развернуто изложить министру финансов свои взгляды. Хотя и в дальнейшем Витте все время перебивал его. Но возражения министра оказались весьма поверхностными и, судя по всему, сводились к аргументации, почерпнутой им, специалистом по финансовым вопросам, из разговоров с антисионистски настроенными еврейскими биржевыми маклерами. А когда иссякли и эти доводы, Витте ни с того ни с сего заговорил о святых местах в Иерусалиме и высказал опасение относительно того, что появление еврейских поселенцев поблизости от святынь может вызвать волнения в среде паломников. Еврейские гостиницы, еврейские магазины — это, по его словам, должно было оскорбить чувства христиан.

— Мы предполагаем селиться по преимуществу на севере страны, далеко от Иерусалима, — возразил Герцль. — Раз уж евреев,

как остроумно изволили выразиться ваша светлость, нельзя утопить в Черном море, необходимо найти для них какое-нибудь другое место.

Витте не расслышал сарказма в этих словах или сделал вид, будто пропустил их мимо ушей, и решил в свою очередь подденть Герцля язвительным замечанием:

— Двадцать лет назад я встретился в Мариенбаде с еврейским депутатом из Венгрии. Не могу вспомнить, как его звали...

Герцль поспешил на помощь:

— Варманн?

— Да, вот именно. Уже тогда поговаривали о возможности воссоздания еврейского государства в Палестине, и господин Варманн сказал, что, если такое случится, он предпочел бы приехать в Иерусалим на правах австрийского посла.

Эта история была известна Герцлю в несколько ином виде: по его версии, Варманн сказал, что отправился бы в Будапешт еврейским послом, а это придавало всему анекдоту другое звучание. Судя по всему, Витте то ли не умел рассказывать такие истории, то ли переврал нарочно, чтобы вложить в историю нужный ему смысл. Во всяком случае, вывести Герцля из себя ему не удалось. Напротив. Пользуясь чужой, толком не осмысленной и не проверенной аргументацией, министр лишь помогал Герцлю опровергнуть ее строго последовательно, пункт за пунктом.

В конце концов Витте с явным неудовольствием оказался вынужден признать в общем и целом правоту Герцля и, похоже, совершенно загнанный в угол, осведомился у вождя сионистов:

— Ну, а чего же вы хотите от русского правительства?

— Некоторого содействия, — ответил Герцль.

Витте в ответ пошел на откровенную грубость:

— Но содействовать эмиграции можно по-разному. Например, пинком под зад.

Лицо Герцля налилось кровью.

— Речь не об этом. Хотя пинков как раз более чем достаточно.

Справившись с волнением, он принялся излагать министру свою состоящую из трех пунктов программу, не скрыл от Витте он и того факта, что уже сформулировал ее в письменном виде

для Плеве. А поскольку Витте уже согласился с Герцлем в том, что массовый выезд из России представляет собой единственно возможное решение еврейского вопроса, вождь сионизма пошел в атаку, потребовав у министра в интересах своего движения снять запрет, наложенный на деятельность Еврейского колониального банка, поскольку этот запрет существенно усложнял эмиграцию, проходящую, не в последнюю очередь, в интересах царского правительства. С неожиданной легкостью Витте согласился, выставив, правда, условием согласия создание филиала банка в России, с тем чтобы, как он выразился, "следить за его поведением". Герцль, не задумываясь, согласился, потому что и сам стремился к тому, чтобы деятельность банка в России была легальной и прозрачной. Конечно, он понимал, что и в данном случае дьявол прячется в деталях, как гласит пословица, но, по меньшей мере, в одном отношении он уже добился от Витте того, за чем пришел.

Аудиенция продлилась чуть больше часа. Затем Витте поднялся с места и подал Герцлю руку.

— Думаю, это был полезный разговор, — сказал он. И, по некотором размышлении, добавил: — Для обеих сторон, как мне кажется.

И вновь Герцль оказался на свежем воздухе. Впечатления, вынесенные им, были неоднозначными. Попрощавшись с Витте, он сохранил ощущение, будто находится на поле переменного тока между двумя полюсами, на поле, созданном обоими его высокими собеседниками, Витте и Плеве. Герцлю казалось также, что Витте, наверняка не являясь таким юдофилом, за которого он себя выдает, прежде всего стремится извлечь выгоду из трудностей, появившихся у Плеве в связи с кишиневским погромом, и, не исключено (во всяком случае, на такое намекала Корвин-Пиотровская), даже добиться отставки министра внутренних дел, что автоматически повлекло бы за собой резкое усиление позиции министра финансов. Уже долгие годы занимает Витте высокие и высочайшие посты в российском правительстве. Почему же до сих пор он ничего — буквально ничего — не сделал для здешних евреев, хотя, если у него возникала такая необходимость, и не гнушался встречаться с еврейскими финансистами, особенно зарубежными, и, вполне может быть, устраи-

вал в их честь у себя в особняке великолепные приемы? Двуликий Янус этот граф Витте, а в душе, должно быть, такой же антисемит, как его грубоватый оппонент с набережной Фонтанки, разве что куда более изощренный!

Мостовые Санкт-Петербурга и впрямь было не сравнить с той почвой, на которую нога Герцля в его дипломатических миссиях ступала во все предыдущие годы. Или веревочки, которые здесь вьют и плетут, оказались, на западноевропейский взгляд, еще запутаннее, чем в наполовину восточном Константинополе? Ах, эти русские!.. Герцлю внезапно пришли на ум слова, если он сейчас не заблуждался, великого русского писателя Достоевского: "Поскреби русского — и найдешь татарина". Или что-то в том же роде. Но граф Витте не русский по происхождению, он немецких кровей. Но какая разница, если здесь, в Петербурге, и при царском дворе, и в других местах постоянно наталкиваешься на немецкие имена, принцесса Ангальт-Цербстская Софья становится императрицей Екатериной Великой и чувствует себя русской чуть ли не до мозга костей.

Аутентичное свидетельство о соперничестве, и впрямь имевшем место между министром иностранных дел и министром финансов, можно обнаружить в опубликованных долгие годы спустя "Воспоминаниях" графа Витте:

"Плеве затаил на меня личную обиду. Он полагал, будто я дважды воспрепятствовал назначению его министром внутренних дел. Он затаился, но дышал жаждой мести. Да и в деле государственной политики мы с ним придерживались по многим вопросам противоположных мнений (не говорю об "убеждениях", потому что никаких убеждений у него просто не было). Согласно моим убеждениям, самодержец должен был править, опираясь на народные массы, тогда как Плеве высказывал мнение, что опираться государю следует исключительно на дворянство. Более чем десять лет управляя государственными финансами, я привел их к самому настоящему процветанию, однако в деле улучшения экономического положения масс мне удалось добиться весьма немногого, так как я не имел — хотя бы только на словах — поддержки в правительстве, и, напротив, наталки-

вался на постоянное сопротивление. А во главе этого сопротивления, пусть и оставаясь в тени, неизменно стоял Плеве.

Стоило назначить его министром внутренних дел, как в стране начались крестьянские волнения. Во многих губерниях крестьяне взбунтовались, требуя земельных наделов. Тогдашний харьковский губернатор князь Оболенский сурово покарал бунтовщиков, лично разъезжая по селам и наблюдая за экзекуциями.

Едва став министром, Плеве поехал в Харьков и благословил князя Оболенского на дальнейшие зверства. Хуже того, князя произвели в генерал-адъютанты и назначили генерал-губернатором Финляндии.

....Вдохновителем и автором всех антиеврейских мероприятий был также Плеве, тогда еще в подчинении сперва у графа Игнатьева, а потом у Дурново. Как вытекает из множества разговоров о нем и вокруг него, он ничего не имел против евреев лично; более того, он был слишком умен, чтобы не понимать того, что вся политика по еврейскому вопросу была ошибочной; однако она была по душе великому князю Сергею Александровичу и, скорее всего, самому государю, поэтому Плеве реализовывал ее со всей неукоснительностью".

Хотя Герцль не пробыл еще в Петербурге и половины заранее намеченного срока, у него сложилось ощущение, будто наступил антракт или он, допустим, взял некоторое время на размышления, хотя пора подводить пусть и предварительные итоги еще не настала. От министра внутренних дел не поступало никаких вестей, да и директор азиатского департамента Министерства иностранных дел Гартвиг, которому порекомендовал Герцля в Павловске генерал Киреев, еще никак не отреагировал на визитную карточку венского гостя и рекомендательное письмо отставного русского генерала. Письмо на четыре страницы убористым почерком — и весьма благожелательное, — хотя, правда, в нем ни единым словом не упоминалось о в высшей степени желательной аудиенции у Николая II. Терпение, и еще раз терпение — мы как-никак в России.

Сначала нужно было воспользоваться вынужденной паузой и поблагодарить генерала, отписав ему об искренней радости из-

за того, что государственный деятель такого ранга проявляет живой интерес к идеям сионизма. И Герцль не сомневался в том, что живой интерес Киреева не был напускным. Он прочитал это в глазах у генерала, а что касается слов... их Герцль вдосталь наслушался и от остальных.

За окнами апартаментов в "Европейской" еще не стемнело. Солнце высоко стояло в небе над крышами домов на противоположной стороне улицы, а снизу, с тротуара, доносились голоса уличных торговцев, посыльных, поджидающих клиента извозчиков. Герцль с Кацнельсоном решили пройтись по вечернему Невскому, на котором царила еще ничуть не утихшая суета.

Образ, представший их взорам, отдаленно напомнил Герцлю венские или парижские бульвары, если, конечно, отвлечься от того, что здешние вывески были по преимуществу написаны кириллицей, а изображенные на них (и, соответственно, предлагаемые в магазинах и лавках) товары были нарисованы в примитивной манере, хотя и с размахом, — гигантские окорока, индюшки, шляпы и фраки. Посередине проспекта бежала конка, а по обе стороны от нее сновали кареты, экипажи и дрожки; нескончаемый поток фланирующих лился вдоль витрин; судя по всему, людям хотелось еще разок насладиться напоследок уже заканчивающимся временем белых ночей, прежде чем город покроет осенняя тьма. Особенно много народу толпилось возле Гостиного двора с его павильонами, будками и киосками, в которых покупателю предлагается всякая всячина, как нужная, так и не очень, и сами лавочники или специально нанятые зазывалы орут что есть мочи, рекламируя свой товар, а в воздухе пахнет главным образом свежеиспеченными пирогами и пирожками. Всё это напомнило Герцлю константинопольский базар. Кацнельсон, чувствующий себя здесь как рыба в воде, давал необходимые пояснения и поторапливал Герцля в сторону Аничкова моста через Фонтанку. Но венский гость внезапно застыл на месте.

Они очутились на площади, своими деревьями и кустами скорее напоминающей сквер и увенчанной импозантной статуей Екатерины Великой на фоне украшенного колоннами фасада императорского Александринского театра. В театр Герцля потянуло с неудержимой силой, он словно вернулся в студенчес-

кие времена. Тогда он на пару с приятелем-журналистом Артуром Шницлером, который впоследствии стал знаменитым писателем, автором скандально нашумевшего "Хоровода", застыл перед только что восстановленным после пожара зданием Бургтеатра и глубоким голосом, неколебимо веря собственным словам, сказал своему никому не известному еще спутнику: "Здесь будут играть мои пьесы!" Что, кстати, затем и сбылось: в Бургтеатре поставили спектакль по пьесе Герцля, правда, всего по одной. Герцль прочитал репертуар Александринского театра на вывешенной здесь же афише. Сплошная классика плюс не известный ему "Лес" некоего Александра Островского. Вроде бы это имя он уже где-то слышал — в Вене или в Берлине — и аттестовали этого драматурга тоже как классика — как нового Грибоедова или Гоголя. А комедию Гоголя "Ревизор" Герцль читал — она представляет собой злую сатиру на русскую провинциальную жизнь, да и не только на провинциальную, и, естественно, подверглась гонениям со стороны цензуры. Выходит, не на одном Западе, но и здесь — в Петербурге и в Москве — драматургов преследовала цензура и, пожалуй, преследует до сих пор. Поневоле Герцлю вспомнились театральные подмостки Вены и цензурный отдел тамошнего полицейского управления, вымарывавший кое-что и из его собственных сочинений. Интересно, а на пьесы зарубежных драматургов петербургская цензура тоже распространяется? Пьесу Герцля, которую он сам считал своей лучшей и которая была посвящена современной трактовке еврейского вопроса, так вот, пьесу эту — "Новое гетто" — недавно перевели на русский, однако разрешения на ее постановку соответствующий департамент пока не дал. Судя по всему, здешние цензоры колеблются и у них возникли "определенные сомнения", как возникали точно такие же сомнения и у венских цензоров, причем применительно к пьесам, уже идущим, и, кстати, весьма успешно, в других немецкоязычных городах, прежде всего в Берлине и в Праге. Но осмелятся ли поставить спектакль по пьесе Герцля здесь, на сцене Александринки? Да еще с таким названием? Может быть, на следующей встрече с министром внутренних дел имеет смысл затронуть и эту тему? Нет, эта мимолетная мысль оказалась тут же отброшена. Министр в

ответ лишь ухмыльнулся бы снисходительно и свел все требования и пожелания Герцля к личному тщеславию иностранного литератора, о творчестве которого он даже не слышал.

Герцль вновь вышел на Невский. И, как оно порой бывает, человек, о котором он только что думал, внезапно появился перед ним прямо здесь, на Аничковом мосту, украшенном четверкою коней Клодта. По мосту шел Плеве! Герцль подавил непроизвольное желание броситься к нему. К тому же, вид у министра, шествующего в сопровождении и под охраной нескольких сердито оглядывающихся по сторонам сыщиков, был такой, что не подступишься. Так что Герцль всего лишь приподнял котелок в знак приветствия и попытался этим выразительным жестом напомнить министру о том, что письменное изложение тезисов им давным-давно получено. Плеве сдержанно кивнул и прошествовал мимо.

На следующий вечер Герцль вновь приехал к Полине Корвин-Пиотровской. Он рассказал ей о случайной встрече с Плеве и не преминул выказать легкое неудовольствие в связи с тем, что министр до сих пор никак не откликнулся на получение тезисов. Пиотровская призвала его запастись терпением. Я слишком хорошо знаю Плеве, пояснила она, чтобы со всей уверенностью заявить: спешить он не любит. И возникшую сейчас паузу Герцлю следует расценить как несомненный признак того, что министр внутренних дел всерьез озабочен его вопросом и даже, не исключено, беседует, или собирается побеседовать, на эту тему с царем. Ну так чего ждать большего? Правда, высказавшись подобным образом, Корвин-Пиотровская села за стол и принялась писать письмо Плеве. Процесс этот показался Герцлю невыносимо долгим. Он молча глядел на хозяйку дома, но затем все же сделал замечание, смысл которого представлялся ему чрезвычайно важным. И ему самому, и Корвин-Пиотровской уже было известно, что в Константинополе убит русский генеральный консул в Турции, действительный статский советник Кудрявцев. И вот Герцль попросил Корвин-Пиотровскую указать Плеве на то, что Турция в связи с этим убийством должна проявить еще большую готовность исполнить любое желание России. Пиот-

ровская выслушала его, не отводя глаз от письма, улыбнулась, кивнула в знак согласия и, в свою очередь, сказала, что политический кругозор Плеве ни в коем случае нельзя недооценивать. Он знает всё и узнаёт обо всем самым первым — и как никто другой в российском правительстве умеет делать надлежащие выводы. Государственный деятель высокого полета и безупречный джентльмен в любом отношении.

Если бы Герцль подошел к окну, чуть сдвинул гардину и посмотрел на улицу, он увидел бы в полусотне метров от дома Пиотровской стоящие дрожки и возле них — с напускным равнодушием посматривая в окна, неторопливо прохаживающуюся туда-сюда даму. Но вряд ли заподозрил бы, что итог ее наблюдений в письменном виде уже на следующее утро ляжет на стол начальника Департамента полиции, а чуть позже перекочует в соседнее здание — на письменный стол самого министра внутренних дел.

Письмо Корвин-Пиотровской возымело действие. Уже на следующее утро, ближе к полудню, Герцлю было вручено подробное и во всех отношениях обнадеживающее письмо Плеве. Теперь нельзя было терять времени. Герцль набросал торопливый ответ на фирменном гостиничном бланке: "Ваше сиятельство, я получил письмо, которое Вы имели милость мне направить. Позволю себе завтра в четыре часа пополудни нанести Вам визит".

Он еще раз перечитал копию тезисов, ранее отправленных министру внутренних дел, и сделанные в ходе первой аудиенции заметки. Он не сомневался в том, что вторая аудиенция у Плеве, назначенная на завтра, окажется вместе с тем и последней. И от ее исхода будет зависеть предоставление или непредоставление ему аудиенции у государя императора в самые ближайшие дни. После ужина в гостиничном ресторане он вновь обсудил с Кацнельсоном важнейшие пункты программы, которые надлежало огласить при встрече с министром и на которых надо было твердо настаивать, — твердо и неукоснительно, как лишний раз напомнил ему Кацнельсон, потому что именно сейчас — с оглядкой на становящуюся все более и более реальной аудиенцию у государя — решается вопрос об успехе или неудаче всей петербургской

миссии. И Плеве уже наверняка проинструктирован по всем ключевым вопросам самим императором.

Когда Герцль на следующий день взял возле гостиницы извозчика, чтобы тот доставил его к зданию Министерства внутренних дел на Фонтанку, позади остались беспокойная ночь и невыносимо медленно тянувшиеся утренние и дневные часы. Вновь и вновь взвешивал он всё уже сделанное и только предстоящее, а ночью, в полусне, по потолку над ним плясали тени — одна вроде бы походила на Полину Казимировну, другая — на Кацнельсона. И оба чего-то требовали от него, однако каждый — на свой лад. Но с рассветом тени исчезли. И теперь ему начало думаться четко и трезво.

Ровно в четыре часа пополудни подъехал он к министерству. На этот раз прождать пришлось всего несколько минут — и не в приемной, как в ходе первого визита сюда, а в зале заседаний коллегии министерства, который, по распоряжению предшественника Плеве Сипягина, был роскошно отделан в старорусском стиле. Деньги на ремонт, конечно же, предоставил граф Витте, не упускавший возможности оказать ту или иную услугу коллегам по кабинету. Вокруг длинного стола для совещаний стояли высокие кожаные стулья, на спинках которых еще красовались инициалы Сипягина. А на одной из стен висело, доминируя над всем помещением, огромное полотно в золоченой раме, на котором была изображена коронация предка нынешних Романовых и основателя династии царя Михаила Федоровича.

Плеве появился в зале и, как показалось Герцлю, чуть ли не по-приятельски пригласил посетителя в кабинет. Прежде чем предложить Герцлю сесть, министр счел себя обязанным изложить причины, по которым он не смог ответить на письмо с тезисами незамедлительно. Ему не хотелось, пояснил Плеве, выпускать столь важную бумагу из рук, пока он не покажет ее государю, ведь Его Величество как истинный самодержец возглавляет и репрезентирует не только верховную власть, но и саму страну. Но у министра имелось наготове и второе объяснение прискорбной задержки — и оно, уже на дальних подступах, заставило Герцля внутренне поежиться и вспомнить о графе

Витте — главном оппоненте, а говоря по-русски — супостате, своего нынешнего собеседника.

— Дело в том, — сказал Плеве, — что решающий разговор с вами нужно вести, обладая твердыми полномочиями, а не в статусе министра, под которым качается стул и у которого вот-вот отнимут министерский портфель.

— Будем надеяться, что этого не случится, — вырвалось у Герцля.

Но Плеве отмахнулся от этой реплики, давая понять, что еще не закончил свою тираду:

— Это должно быть решение всего русского правительства. И доверительно сообщаю вам, что приглашение на нынешнюю аудиенцию воспоследовало лишь после того, как я обсудил ее возможность с государем императором и получил на то высочайшее согласие и соответствующие полномочия.

У Герцля не оставалось времени определиться с тем, являются ли эти совершенно излишние пояснения нечаянной проговоркой или своего рода кокетством человека, не сомневающегося в прочности собственной позиции. Потому что Плеве, вновь словно бы взойдя на профессорскую кафедру, продолжил:

— Именно при этих обстоятельствах Его Величество высказались и об обвинениях, которым подвергается в последнее время Россия в связи с евреями. Его Величество чрезвычайно огорчены тем, что за границей осмеливаются утверждать, будто российские власти инициировали известные вам беспорядки или, самое меньшее, безучастно наблюдали за их нарастанием. Его Величество как верховный глава государства одинаково милостивы ко всем своим подданным, и подобные наветы — при общеизвестной доброте и щедрости государя — и оскорбительны, и нестерпимы.

Конечно, правительствам зарубежных держав и иностранному общественному мнению легко вставать в позу, бросая нам упреки в неподобающем обращении с нашими евреями. Но когда речь заходит о том, чтобы принять к себе два-три миллиона несчастных евреев, тон высказываний резко меняется. Они категорически отказываются и оставляют нас наедине с практически неразрешимой проблемой.

Плеве увидел, что Герцль собирается ответить, и жестом дал понять, что еще не закончил сам.

— Я продолжу свою мысль, — сказал он. — Конечно, я не стану отрицать того, что евреям в России живется плохо. Будь я евреем, сам бы наверняка стал врагом существующего режима. Но ведем мы себя так и только так, как можем, и точно так же собираемся вести себя впредь, вот почему создание независимого еврейского государства, которое могло бы принять несколько миллионов евреев, было бы нам чрезвычайно угодно. Однако терять на этом всех своих евреев мы не хотим. Еврейских интеллектуалов — одним из которых, бесспорно, являетесь вы — мы желали бы сохранить. Применительно к истинным интеллектуалам мы не признаем национальных и конфессиональных различий. Однако от слабых умов и пустых кошельков мы избавимся с удовольствием. Мы сохраним только тех, кто сумеет ассимилироваться. А против евреев как таковых мы ничего не имеем, об этом я вам и в письме написал.

Пока министр говорил, Герцль делал торопливые заметки. Бумагу для этого он на сей раз прихватил с собой, чтобы не просить у Плеве. Когда министр заговорил о царе, у Герцля вновь возник мгновенный порыв перебить Плеве просьбой о высочайшей аудиенции. Однако он почувствовал неуместность этого в данную минуту — министра бы он только сбил с мысли и тем самым рассердил. Поэтому на весь пространный монолог он ответил лишь такими словами:

— Однако, ваше сиятельство, делу не повредило бы, займись вы улучшением положения остающихся в России евреев немедленно. Это существенно облегчило бы и мою задачу. — Заметив обращенный на него вопрошающий взгляд министра, Герцль продолжил: — Если бы вы, например, расширили черту оседлости, включив в нее Курляндию и Ригу, или разрешили евреям в уже существующей черте приобретать до десяти десятин пахотной земли.

Герцль понимал, что затрагивает тем самым крайне щекотливую тему, волнующую не только петербургских антисемитов — причем с тех пор, как некий Энгельгардт опубликовал в "Новом времени" статью, в которой речь шла о вытеснении евреями коренного населения с пахотных земель на северо-западе России. В этой статье приветствовалось правительственное постановление от 10 мая 1903 года, запрещающее продавать землю евреям. Правда,

говорилось там далее, евреи — великие мастера обходить законы, но сам по себе запрет хорош, ведь земля им нужна не чтобы ее возделывать, а исключительно затем, чтобы ею спекулировать. Еврейский вопрос, написал Энгельгардт, это гноящаяся рана. Получив право покупать землю, евреи почувствовали бы себя победителями, прониклись еще большим высокомерием и тут же выдвинули бы новые требования. Ведя себя как самые настоящие завоеватели, евреи уже обзавелись форпостами по линии Рига—Вильна—Смоленск. Местность там не слишком густо заселена, но преимущество, связанное с колонизацией ее евреями, сугубо мнимое: евреи делают вид, будто способствуют всеобщему процветанию, а на самом деле — торгуют русским лесом и не приносят никакой пользы. Именно торговля лесом лежит в основе сформировавшегося в тех краях еврейского капитала. Так они распродадут все наше Отечество по щепке, а сами того гляди пролезут в Сенат. А постановление от 10 мая призвано положить конец этому новому антирусскому игу.

Но, вопреки ожиданиям и опасениям, Плеве (наверняка знакомый со статьей Энгельгардта) нашел предложение Герцля как минимум заслуживающим размышления. Скрестив руки на груди и уперев в них подбородок, министр разразился еще одним монологом:

— Вопрос о Курляндии и Риге не вызывает у меня отторжения, я им, кстати, уже занимался. Мы ничего не имеем против того, чтобы допустить евреев в те края, где их уровень жизни окажется не выше, чем у коренного населения. Поэтому в прибалтийские провинции — к немцам и латышам — мы их, пожалуй, пустим.

А вот с покупкой пахотной земли дело совершенно другое. Я и сам когда-то носился с мыслью предпринять нечто в этом роде. Войдя в правительство, я хотел предоставить евреям в черте оседлости право приобретать от трех до пяти десятин пахотной земли. Однако, когда я запустил пробный шар через прессу, разразилась такая буря протестов с русской стороны, что мне пришлось отказаться от этого плана. "Плеве хочет ожидовить русскую землю", — так это звучало у моих оппонентов.

Плеве сделал паузу. На его лицо набежала тень воспоминаний. Едва заметно улыбнувшись, он продолжил:

— Вам следует знать, что я пришел во власть как друг евреев. Детство и отрочество я провел в их кругу. Это было в Варшаве, где я прожил с пяти до шестнадцати лет. Я жил в родительской семье, в весьма стесненных обстоятельствах, в доходном доме. Квартирка у нас была крошечная, и детьми мы поневоле играли во дворе. И я водился исключительно с еврейскими мальчиками и девочками. Все мои тогдашние друзья были евреями. Точно так же обстояло дело и в юности. Так что, знаете ли, сама судьба велит мне сделать для евреев что-нибудь хорошее. Поэтому я и не отвергаю ваши предложения с порога. Напротив, первое принимаю полностью, а второе — с оговоркой: пусть евреи покупают пахотную землю только в коллективное пользование. Если вам хочется переселить евреев на землю целыми коммунами — правительство ничего не имеет против. Если кому-то из ваших захочется получить индивидуальный надел — об этом можно будет поговорить позднее. Время от времени я принимаю по таким вопросам одного из ваших единоверцев, банкира и барона Гинцбурга. Вот с ним мы это и обсудим.

Легкая улыбка на губах у министра внутренних дел и его рассказ о варшавском детстве напомнили Герцлю о том, что говорила про Вильну и Варшаву Корвин-Пиотровская, и о том, что его теперешний собеседник является земляком очаровательной польки. Он попытался представить себе, как Плеве мальчиком играет с еврейскими ровесниками во дворе варшавского доходного дома. Не исключено, что в жилах министра есть капелька еврейской крови. Хотя нет, это уже, пожалуй, притянуто за уши. Так или иначе, интересно представить себе жизненный путь, который должен был пройти этот человек, чтобы прослыть мучителем российских евреев и стать из-за этого мишенью для нападок в европейской прессе. Воспоминания Плеве — юдофильские и чуть ли не сентиментальные — заставили Герцля подумать и о слывущем "еврейским заступником" графе Витте. Примечательно, что оба соперника в борьбе за роль главы кабинета выставляют себя при личных встречах с ним отчаянными юдофилами и, судя по всему, сами верят тому, что говорят. Шахуют его — если вновь вспомнить о "вечнозеленой партии". Загоняют в угол. Но он давным-давно научился разгадывать

подобные ходы на политической доске и реагировать на них соответственно. Вот только ссылка Плеве на барона Гинцбурга ему не понравилась. Барон, вне всякого сомнения, достойный и глубоко уважаемый человек, но он уже стар, да и в лучшие годы особым умом не отличался. Так, по меньшей мере, полагал Герцль. Поэтому он предложил министру провести дальнейшие детализированные переговоры не с Гинцбургом, а с Кацнельсоном — человеком воистину современным, прекрасно образованным и ничуть не в меньшей мере, чем барон, порядочным.

Плеве согласился, и Герцль перевел разговор на упомянутое в его тезисах эвентуальное посредничество России в переговорах с турецким султаном. Всё зависит от того, пояснил он, насколько энергичным окажется российское вмешательство. Министерство иностранных дел, сказал он, орган того же тела, что и Министерство внутренних дел, и внутренние потребности должны в данном случае оказаться удовлетворены вовне. Но, конечно же, в первую очередь, он надеется на личное обращение царя к султану.

Плеве задумчиво посмотрел на собеседника и сказал, что от турок, с которыми никто не собирается воевать и с которых даже не спросишь как следует за застреленного в Константинополе русского консула, вполне уместно было бы потребовать компенсацию вроде той, которую имеет в виду Герцль. Он, Плеве, обратится с таким предложением к царю, более того, найдет весьма весомые аргументы, однако произойдет это, увы, не завтра и не послезавтра, поскольку перед встречей с Герцлем он побывал на прощальной аудиенции у Николая II, вознамерившегося покинуть Петербург ради летней резиденции в Царском Селе.

Осторожный намек Герцля на то, что высочайшая аудиенция лично ему была бы все же в высшей мере желательна, Плеве парировал туманно: "Поживем — увидим. После Конгресса!" Что ж, услышав это, Герцль хотя бы смог не без удовлетворения констатировать, что министр придает предстоящему Всемирному конгрессу сионистов в Базеле определенное значение. Конечно, Герцль расстроился из-за того, что в немедленной аудиенции у Николая ему, по сути дела, категорически отказано, однако оставалась надежда вновь приехать в Петербург по окончании

конгресса и все же быть августейше принятым в Зимнем дворце. А в искренности слов и серьезности намерений Плеве он сейчас не сомневался.

Герцль почувствовал, что разговор близится к завершению, однако счел себя обязанным проинформировать министра о своей беседе с графом Витте. Но Плеве оказался в курсе дела.

— Господин министр финансов, — сказал он, — настроен по отношению к вашему проекту крайне скептически. Он просто не верит в возможность его осуществления.

— Граф Витте, — возразил Герцль, — черпает информацию из финансовых источников, не заслуживающих особого доверия. А мне содействие в решении подобных вопросов окажет лорд Ротшильд из Лондона.

Плеве понимающе улыбнулся:

— Не сомневаюсь, что господин министр финансов поддерживает, наряду с прочим, прекрасные деловые отношения с банкирским домом Ротшильдов в Париже.

— Но и парижские Ротшильды не воспротивятся реализации моего плана, — ответил Герцль. — Хотя бы потому, что один из них уже потратил несколько миллионов на колонизацию Палестины!

Плеве этот факт заинтересовал не слишком — он просто-напросто принял его к сведению. Возможно, потому что финансы не были его коньком. А то, что ему следовало знать, министр давным-давно знал из собственных специфических источников. В Петербурге шила в мешке не утаишь. А обсуждать графа Витте дольше, чем это было категорически необходимо, в беседе с иностранцем, хуже того — с заграничным евреем, — ему было явно неприятно.

И вновь они заговорили о сионистском движении в России и о высказанном уже Герцлем желании получить разрешение на проведение здесь конгрессов. Плеве покачал головой.

— В таком случае конгрессы пошли бы один за другим и евреи тем самым получили бы то, в чем отказано православным.

Герцль понял, что ему не стоит испытывать терпение министра, и тактично поддакнул:

— Я уже порекомендовал нашим товарищам воздержаться от проведения конгрессов в России.

Плеве поднялся с места и взял с полки уже знакомую Герцлю роскошную кожаную папку с золотым ободком. Полистал ее и уткнулся пальцем в одно из донесений:

— Вы утверждаете сейчас прямо противоположное тому, что значится в полученном мною рапорте. В октябре мне придется предложить кабинету полностью запретить сионистское движение.

Октябрь был назван не без умысла. Судя по всему, он собирался вынести то или иное окончательное решение в зависимости от того, как пройдет конгресс в Базеле.

Разговор завершился. Плеве простился с Герцлем столь же любезно, как и приветствовал его приезд. Ну а каков результат? По меньшей мере, ситуация теперь разъяснилась: или помощь — как административная, так и посредническая, включая заступничество перед султаном, — или полный запрет движения. Министр не сжег мосты ни в ту, ни в другую сторону.

Вот уж воистину хитрый лис этот Плеве — и, вдобавок, скорее всего, волк в овечьей шкуре. И в уме ему не откажешь — хотя бы в этом отношении Полина Корвин-Пиотровская не ошиблась. Однако это опасный ум, и Герцль прекрасно понимал, что неоднозначные взаимоотношения с российским министром внутренних дел следует продолжать и развивать, находясь сперва в Базеле, а потом в Вене, если он хочет добиться своей цели. Вне всякого сомнения, сначала устно, а затем и письменно, да еще с одобрения самого государя, сформулированные полупризнания Плеве (равно как и графа Витте) были многообещающим сигналом, были козырем, который сам Герцль сможет пустить в ход в Базеле, но слишком многое оставалось на уровне недосказанного и витало в воздухе, готовое в любой момент бесследно исчезнуть, если вождь сионизма не проявит достаточной дипломатичности и энергии.

Герцль вернулся в гостиницу. В вестибюле его дожидался Кацнельсон, которому не терпелось узнать, какие результаты принесла аудиенция у министра. Герцль обстоятельно отчитался перед соратником и другом. Правда, кое-что, кажущееся недостаточно ясным ему самому, он решил пока придержать при себе. При всем доверии к Кацнельсону новая порция ахов и охов была бы для Герцля сейчас просто невыносима.

На следующее утро он написал два письма. Первое было адресовано Плеве:

"Ваше сиятельство,

да будет позволено мне присовокупить несколько слов к тому, что было сказано при вчерашней встрече.

Всё зависит от эффективности посредничества во взаимоотношениях с Его Величеством турецким султаном.

Столь благоприятного стечения обстоятельств для подобного посредничества, как нынешнее, не было уже давно и не известно, когда оно возникнет в следующий раз: Правительство Оттоманской империи готово на любые уступки, помимо официальной сатисфакции, лишь бы умилостивить Россию.

Настоятельная рекомендация Его Императорского Величества турецкому султану окажется, я убежден, более чем достаточной.

Что же касается моих на этом не заканчивающихся, а наоборот, только начинающихся хлопот, то прилагаемое письмо — их первый результат и залог. Я прошу Ваше сиятельство прочесть его — и забыть, и, если понадобится, уничтожить. Я не хочу обременять Ваше сиятельство своими дальнейшими соображениями.

И на предстоящем конгрессе в Базеле я собираюсь изо всех сил и всеми средствами добиваться полного согласия на реализацию моих планов.

Я уезжаю в субботу вечером и собираюсь в воскресенье остановиться в Вильне, где мне так или иначе предстоит пересадка, и произнести речь перед тамошними евреями. Меня предостерегали, что среди них есть и настроенные ко мне враждебно, однако меня это не пугает. Напротив, наставить на истинный путь заблуждающихся (а они там имеются) — моя прямая обязанность.

Надеюсь, что это будет соответствовать требованиям момента, но в любом случае только обрадуюсь, если все пройдет без каких бы то ни было проблем. Прошу Ваше сиятельство нынче же вечером тем или иным образом откликнуться на данную инициативу и, по возможности, дать оценку моим дорожным планам".

К этому письму на адрес министра внутренних дел Герцль приложил копию другого, отправленного в Лондон:

"Дорогой лорд Ротшильд,
в соответствии с Вашими пожеланиями, докладываю о результате моих здешних усилий.

Русское правительство весьма обнадежило меня своим отношением, и в докладе на Базельском конгрессе я оглашу сведения, важные и радостные для всего еврейства.

Для дальнейшего улучшения общей ситуации было бы, однако же, крайне желательно прекращение оголтелых нападок на Россию в еврейской и юдофильской прессе. В этом направлении любые усилия окажутся нелишними".

Плеве эти строки (в основном для его глаз и написанные) несомненно порадуют. А как к ним отнесется лорд Ротшильд в далеком Лондоне — это уж дело другое.

Последний день. Еще одно письмо. На сей раз — адресованное графу Витте. Теперь Герцль вполне официально — в статусе председателя наблюдательного совета Еврейского колониального банка — сообщает министру финансов о своей готовности принять условия, выдвинутые тем в связи с учреждением филиала банка в России. Тем самым поставлена точка и в этой истории. А все остальное покажет время.

День оказался полон дел и хлопот. Так что едва нашлось время на надлежащий манер проститься с очаровательной Корвин-Пиотровской и поблагодарить ее за неоценимые усилия. Но Герцлю предстояла еще одна встреча, которой он с самого начала придавал далеко не второстепенное значение, — встреча с действительным статским советником Николаем Генриховичем Гартвигом, начальником азиатского департамента Министерства иностранных дел и президентом императорского Русско-Палестинского общества.

Герцль подъехал к департаменту и попросил доложить о своем прибытии. Здесь его заставили ждать. В своем дневнике он описывает встречу с Гартвигом такими словами:

"В приемной, которая вместе с тем была и библиотекой, я изучал здешнее собрание книг, в высшей степени примечательное, мне даже трудно сравнить его с чем-нибудь... По-русски большебородый лысый господин среднего роста и тучной комплекции, одетый в светлый летний костюм, прошел через залу, держа под мышкой стопку бумаг. Испытующе посмотрел на меня, целиком захваченного книгами из его библиотеки.

Меня позвали в кабинет, и я понял, что это и есть Гартвиг.

Кратко (мне доводилось заниматься этим едва ли не в десятый раз) я изложил суть своего дела. Гартвиг дипломатично повел себя так, словно слышит все это впервые. Естественно, я сообщил ему, что Плеве пообещал мне, согласовав это обещание с императором, посредничество российского правительства в переговорах с турецким султаном.

Тут он задышал дружелюбнее... И сообщил мне, в свою очередь, что господин Жоне, русский посол в Берне, к настоящему времени уже удалившийся в мир иной, изучил, изнывая в швейцарской столице от безделья, сионистское движение и представил в министерство подробный доклад на эту тему. В Министерстве иностранных дел к нашим идеям отнеслись с симпатией, однако, поскольку высочайшей отмашки не последовало, дело просто-напросто зависло. Конечно, он, Гартвиг, наслышан о базельских конгрессах...

И ему хотелось бы получить отчет о предстоящем конгрессе, с тем чтобы положить его на стол министру. Я пообещал представить такой отчет в течение двух недель. А Гартвиг выразил готовность выяснить у русского посла в Константинополе Соловьева, что еще можно предпринять в общих интересах.

На этом мы и простились. Я попросил его с неизменной благожелательностью относиться к нашему делу, и он заверил меня, что именно так и будет".

Разумеется, для Герцля эта беседа представляла интерес только в плане обмена информацией и никак не более того, но он был рад уже тому, что она вообще имела место. А готовность Гартвига связаться с русским послом в Константинополе тоже до некоторой степени обнадеживала.

Но уже через полтора часа обещания господина Гартвига потеряли какой бы то ни было практический смысл.

В гостиничном вестибюле Герцля дожидался генерал в отставке Киреев из Павловска. И прибыл он не только затем, чтобы попрощаться. После того как Герцль с Киреевым присели за столик и генерал налил из хрустального графина, поданного по его распоряжению одним из татар-официантов, неизбежной русской водки, а затем произнес здравицу в честь отъезжающего, Киреев доверительно сообщил, что в ближайшее время едва ли имеет смысл надеяться на дружественное заступничество России перед Турцией в палестинском вопросе. В ответ на убийство русского консула русский флот подойдет к турецким берегам, причем буквально к самому Константинополю. Эта акция устрашения, по словам генерала, уже началась: флот вышел в открытое море. А после того как Турция поневоле выполнит все пять пунктов предъявляемого ей сейчас ультиматума, в обозримом будущем отношения между двумя империями будут лишены малейшего оттенка дружественности.

Эта новость стала для Герцля воистину сокрушительной. Но при всей симпатии, которую он с первой встречи питал к удалившемуся на покой и, не исключено, как раз поэтому излишне словоохотливому генералу, у него остались некоторые сомнения в стопроцентной достоверности пессимистического прогноза на будущее, сделанного Киреевым. Как и в любом другом месте, расположенном неподалеку от центра власти, при царском дворе наверняка должна существовать политическая кухня, на которой в связи с любыми международными осложнениями готовят и подогревают слухи порой самого сумасбродного свойства — вроде ультиматума великой державе в связи с более чем темным убийством какого-то консула. И разве Плеве в разговоре с самим Герцлем не исключил, причем в самой категоричной форме, возможность серьезных осложнений с Турцией? Ведь и в России наверняка знают английскую пословицу о том, что мести следует дать остыть и сервировать ее к столу в холодном виде. Конечно, это всего лишь надежда, но Герцль не собирался позволить генералу в отставке лишить

себя в вечер перед отъездом из столицы Российской империи последней надежды.

Но генерал Киреев оказался не единственным, кто попытался влить ложку дегтя в бочку меда, как гласит весьма уместная в данных обстоятельствах русская поговорка. В гостиницу "Европейская" прибыл взволнованный доктор Брук, витебский член сионистского исполкома, и в категорической форме отсоветовал Герцлю еще раз, уже на обратном пути, задерживаться в Вильне. Довольно велика вероятность того, что там Герцлю устроят провокацию, пояснил витебский сионист. Ведь в Вильне сосредоточено руководство Бунда — социалистической и революционистской еврейской организации, и эти люди злы на Герцля из-за его встречи с Плеве, а также из-за недобрых слов, сказанных им по их адресу на петербургском званом обеде. "Куда угодно, только не в Вильну!" — отчаянно вскричал д-р Брук. Вдобавок ко всему, в российскую провинцию уже запущен слух о том, что Герцль погиб в результате якобы состоявшегося покушения на него.

Пытаясь успокоить Брука, Герцль объяснил ему, что не может выставлять себя на смех отказом от уже данного согласия на встречу с общественностью в Вильне. И, чтобы избавиться от паникера, поручил ему отправиться в Вильну первым и прозондировать тамошнюю ситуацию. Разумеется, сам Герцль всем этим кривотолкам значения не придал. Однако кое-какие из русско-еврейских газет тут же за них ухватились.

Герцль уже уехал из Петербурга, когда в "Будущности" появилось следующее сообщение:

"31 июля нами получен телеграфный запрос из Минска: "Жив ли еще д-р Герцль?" Телеграммы аналогичного содержания получены в редакциях остальных еврейских газет и журналов Петербурга и некоторых других городов. Журнал "Северо-Западный край" пишет в связи с этими совершенно безосновательными слухами:

"Воспользовавшись пребыванием д-ра Герцля в Петербурге, некий минский филистер запустил утку, согласно которой на жизнь вождя сионизма было совершено покушение. Поэтому 30 июля — именно в этот день и была запущена утка — многие

пришли в волнение. Уже к одиннадцати утра о покушении говорил весь город, причем кое-кто утверждал, будто д-ра Герцля уже нет в живых. Мало того, говорили, будто в нашей редакции имеется удостоверяющая эту прискорбную весть телеграмма. Поэтому посетители, поодиночке и группами, на протяжении всего дня буквально брали редакцию приступом — и наши опровержения не могли их успокоить. К вечеру слух достиг кульминации: якобы имевшее место покушение теперь расписывали во всех подробностях. Ночью множество сионистов бродило вокруг типографии, в которой печатается наш журнал, досаждая каждому, кто покидал здание, вопросом, не слышно ли чего-нибудь новенького о Герцле? Меж тем д-р Герцль преспокойно спал у себя в гостиничном номере, даже не подозревая о том, что в Минске на его жизнь совершено покушение".

Находящаяся в черте оседлости литовская Вильна (главный город одноименной Виленской губернии), доставшаяся России в ходе так называемого Второго раздела Польши, по праву считалась "русским Иерусалимом". Значительную часть ее стошестидесятитысячного населения, наряду с литовцами, поляками и русскими, составляли евреи, проживавшие здесь в похожих на западно-европейские гетто кварталах с лабиринтом узеньких улочек и проулков, в которых стоял вечный запах бедности, граничащей с нищетой, и звучал идиш. Собственно говоря, именно эти кварталы и придавали всему городу неповторимый облик. Конечно, имелись здесь не только они и даже вовсе не они доминировали, однако именно из-за них всякому гостю Вильны казалось, будто прибыл он не в столицу губернии, а в уездный, глубоко провинциальный городок, в котором, в отличие от тысяч и тысяч ему подобных, даже не имеется центральной рыночной площади. Как это ни странно, именно отсутствие ярмарочной площади и запомнилось Герцлю из всего, что Полина Корвин-Пиотровская рассказывала ему о своем родном городе. И еще запомнились караимы — живущие под Вильной члены иудейской секты, отошедшие от традиционного раввинизма и вернувшиеся к букве Моисеева закона; причем караимы находились в России в несколько более привилегированном, чем все осталь-

ные евреи, положении. Подобные курьезы он запоминал, пожалуй, не столько как политик, сколько как писатель.

Вильна оказалась единственным, кроме Санкт-Петербурга, городом, который Герцль посетил в России. Здесь также ему представилась уникальная возможность вступить — пусть всего на несколько часов — в непосредственный контакт с представителями еврейской массы, и это заставило его в существенной мере переменить взгляд на подлинную жизнь российского еврейства и его положение в необъятной стране.

Виленские сионисты поначалу пытались сделать пребывание Герцля в городе как можно более незаметным и вообще скрыть факт его приезда от местных властей. Впрочем, неосуществимость этих планов стала ясна задолго до визита, так что сионистам пришлось дистанцироваться от прежней практики и сменить ее на прямо противоположную. Местные власти оказались заранее осведомлены и соответствующим образом проинструктированы из Санкт-Петербурга — тут, очевидно, расстаралось Министерство внутренних дел и, не исключено, приложил руку сам Плеве.

Тайные донесения виленской полиции о пребывании Герцля в городе стали известны общественности где-то пятнадцать лет спустя, уже по окончании Первой мировой войны и в ходе оккупации Литвы немецкими войсками, да и то — лишь по случаю. Виленский инженер Идельсон купил у городского полицейского управления часть архива с целью дальнейшей утилизации. Среди доставшихся ему бумаг оказалась пухлая папка с надписью "Дело о пребывании в Вильне 5 августа 1903 года еврейского публициста и вожака сионистов Герцля", которую Идельсон передал городскому Еврейскому историко-этнографическому обществу. Эти донесения производят и сегодня полукомическое впечатление тем, с какой тщательностью и проработкой во всех деталях — на уровне прямо-таки Генерального штаба — готовились виленские власти к приезду Герцля и к проведению неусыпной слежки за ним.

Среди первых документов находится прошение виленских сионистов на имя шефа местной полиции: "По случаю пребывания в Вильне проездом из Санкт-Петербурга известного венс-

кого публициста доктора Теодора Герцля нижайше просим ваше высокоблагородие разрешить нам дать в его честь 3 августа сего года званый обед на 80 персон в зале городского собрания".

Прошение было отклонено, и в рапорте заместителя начальника виленской полиции можно прочесть следующее: "В связи с отказом Сегалю, Гольдбергу, Зольцу и Бен-Якобу в разрешении провести 3 августа сего года в зале городского собрания званый обед в честь д-ра Герцля и с оглядкой на возможность проявления ему знаков внимания иным образом, я распорядился отправить на вокзал к прибытию петербургского поезда пристава Первого участка Снитко и квартального надзирателя Второго участка Королева (последнего – в штатском) с целью надзора за происходящим и выявления лиц из числа местного еврейского населения, вознамерившихся вступить с проезжающим через наш город в непосредственный контакт. Пристав Снитко донес мне, что в два часа пополудни Герцль собирается посетить главную городскую синагогу, расположенную на Немецкой улице в так называемом Школьном (синагогальном) подворье, где его должны поджидать члены синагогального правления, а также представители еврейской интеллигенции. В честь Герцля должны быть произнесены речи, ожидается также выступление синагогального хора".

Так удалось выявить вехи пребывания Герцля в Вильне, действий тамошних сионистов и хлопот городской полиции.

Герцль прибыл в Вильну, расположенную меж холмов и лугов на слиянии двух рек, около полудня. Уже на последней перед Вильной остановке, в Вилейке, в вагон скорого поезда вошла делегация виленских сионистов, заранее выехавшая навстречу, чтобы первой приветствовать дорогого гостя. А на виленском вокзале собрались сотни евреев, встретившие Герцля и проводившие его до извозчика восторженными выкликами и рукоплесканиями. Хотя он и не любил такого рода оваций, энтузиазм толпы, встретившей его чуть ли не как нового пророка, был ему в целом понятен. И, разумеется, он заметил пеших полицейских и конных казаков, по сути дела, оцепивших привокзальную площадь и явно дожидающихся сигнала разогнать толпу, как в этом городе неоднократно бывало еще до его при-

езда. Герцль прошел к дрожкам поспешно — но все же не с чрезмерной поспешностью — и несколько раз в знак приветствия приподнял цилиндр. Но вот он уже на извозчике — и едет в респектабельную гостиницу "Святой Георгий", предоставляющую ему приют на все тринадцатичасовое пребывание в Вильне.

В отличие от петербургских впечатлений, виленские с первых же минут стали для Герцля несколько тревожными: он уловил витающее в здешнем воздухе и объявшее практически весь город волнение. Да и когда доводилось Вильне пережить нечто сходное? Из ста шестидесяти тысяч жителей города добрые сто тысяч были евреями — и сейчас чуть ли не все они высыпали на улицу — кто с неподдельной радостью, кто с любопытством. Все виленское еврейство независимо от сословных или имущественных различий! Эту поездку можно было бы назвать триумфальной, не окажись на улицах, по которым проезжал Герцль, такого количества полицейских и казаков, предпринимающих тщетные, но от того ничуть не менее оскорбительные попытки разогнать ликующую толпу. И возле гостиницы прославленного посетителя поджидало множество почитателей. Судя по всему, они не хотели расходиться и после того, как Герцль поднялся к себе в номер, но тут уж полиция взялась за них как следует и вытеснила в прилегающие переулки.

Всё это предпринимается исключительно ради его собственной безопасности, заверил Герцля вскоре явившийся с визитом начальник полиции. У него, мол, имеется высочайшее распоряжение проследить за тем, чтобы у почетного гостя города и волос с головы не упал. Именно поэтому он вынужден категорически предостеречь Герцля со спутниками против поездки в еврейскую часть города, буде они такую поездку замышляют, предостеречь в их же собственных интересах, потому что, согласно имеющейся информации, виленские представители Бунда непримиримо настроены против Герцля из-за его петербургских высказываний и, в особенности, из-за личной встречи с господином министром внутренних дел.

Присутствовавшие при этом разговоре виленские сионисты бурно запротестовали, однако начальник полиции остался не-

преклонен. В конце концов сошлись на том, что Герцль может встретиться с благонамеренными представителями виленского еврейства, однако ни в коем случае не в широком кругу, и произойдет это в еврейской части города, однако проехать туда он должен кратчайшей дорогой, нигде не останавливаясь и не задерживаясь.

Герцль, уже знающий о настроении властей от выехавшей ему навстречу в Вилейку делегации виленских сионистов, ожидал чего-то в этом роде и принял поэтому пояснения шефа полиции сравнительно спокойно. Он не верил, что его виленские критики способны решиться на какую-нибудь контрдемонстрацию. Да и слухи о возможности покушения на него, которые вовсю муссировала националистическая пресса, представлялись Герцлю нелепостью. Вернее, своего рода пропагандой, неизбежным музыкальным сопровождением его визита в Россию, сопровождением, в котором можно было различить две мелодии — неуверенность, исходящую от российских властей, и ничем не обоснованные, как ему казалось, страхи большинства еврейского населения. Может быть, в стране русских царей он и не самый желанный гость, но, разумеется, не в интересах Плеве, да и всего правительства в целом, малейшая напасть, которая могла бы приключиться с ним, пока он не покинет пределы России. Он нужен министру внутренних дел сейчас и будет нужен и впредь, чтобы хоть как-то управиться с разбушевавшимся в России еврейским вопросом. Так что же могут противопоставить этому мелкие виленские начальники: досадные препятствия, булавочные уколы, казачьи нагайки на улицах, шпиков в гостинице, да подслушиванье телефонных разговоров из его номера? Все это, но никак не более.

Тринадцать часов между двумя поездами, то есть практически целый день, на второй по значению после Одессы еврейский город России. И то, чего не смогли ему предоставить в Санкт-Петербурге с разрозненными еврейскими кружками, он получит здесь — вопреки мелкотравчатым ограничениям властей предержащих, — он встретится с подлинным российским еврейством, уже первая встреча с которым на вокзале, сопровождаемая овациями, чуть ли не заставила его разрыдаться в голос. С подлин-

ным российским еврейством, вытесненным сейчас с площади у входа в гостиницу и оставившим на поле боя бесчисленные шапки, сумки и зонтики.

Тихо, удручающе тихо, стало под окнами гостиничного ресторана, в котором Герцль с Кацнельсоном и несколькими виленскими сионистами сидел за столиком, расспрашивая хозяев о том, что за встречи предстоят ему в ближайшие часы. Лишь время от времени доносился из-за окон стук копыт конного полицейского патруля, а в остальном царила тишина – разумеется, обманчивая и именно так воспринимаемая каждым из сидящих за ресторанным столиком. Герцль хотел было развеять гнетущую атмосферу еврейским анекдотом: "Приходит ночью в деревню чужак, а здешний раввин велел одному еврею нести всенощную стражу, чтобы не прозевать прихода мессии. И вот чужак спрашивает несчастного еврея, трясущегося от холода на дорожной обочине, о том, что он тут делает. "Меня назначили дожидаться тут мессию!" – с гордостью отвечает тот. "Ну, на такой должности много не заработаешь", – подначивает его чужак. "Ничего, зато она пожизненная", – пожав плечами, отвечает еврей". Кое-кто рассмеялся, а один из виленских сионистов заметил: "В дураках порой оказывается не тот, кто сидит на обочине".

Герцлю, похоже, все же удалось самую малость развеселить компанию. "Cárpe diém", – провозгласил он. И хотя в разъяснениях начальника здешней полиции главная синагога даже не упоминалась, Герцль решил воздержаться и от визита туда, чтобы не давать властям нового повода вмешаться в то, что они могли бы счесть провокацией. Начальник полиции разрешил только встречи, не имеющие публичного характера, а члены правления синагоги наверняка уже дожидаются его в достаточно укромном месте. Поэтому он отправился в путь. И, возможно, в силу не чуждой и ему еврейской строптивости Герцль решил не придерживаться предписанного ему полицмейстером маршрута и заглянуть хотя бы в пару-тройку узких и дышащих бедностью еврейских переулков, дома, и в особенности каменные ворота, которых наводили на мысль о Средневековье. Герцлю, человеку с самой юности, и уж тем более позднее в роли глашатая сионизма, избегавшему прямого контакта с миром

гетто и его обитателями, захотелось увидеть собственными глазами и, главное, почувствовать, как живется простым русским евреям. Они махали ему руками из окон, выходили поприветствовать его на порог, приподнимали над головой шапки. На Герцля нахлынули воспоминания о детстве, проведенном в будапештском гетто, по улочкам которого он тогда расхаживал со страхом и любопытством, судорожно вцепившись в руку отца. В чрезвычайно скверно замощенных переулках Вильны, где его дрожки буксовали и то и дело задевали колесами высокие тротуары, держали свои лавчонки и мастерские в жалких закутках, куда практически не проникал свет солнца, еврейские ремесленники, сапожники, портные, плотники, часовщики...

Повинуясь внезапному порыву, Герцль сделал нечто для него неслыханное. Остановил дрожки, сошел наземь и заглянул в полуподвальную затхлую лавку с примыкающей к ней мастерской. И остановился в кругу мастеровых в рабочей одежде, вышедших на улицу поглядеть на то, как он проезжает мимо них, поинтересовался условиями работы и жизни. Ремесленники смотрели на Герцля с надеждой и верой. И впервые за все время поездки в Россию он понял, какие ожидания связывают с его визитом простые евреи. Здесь, в Вильне, но, понятно, не только в ней. И хотя здешний люд отвечал на вопросы высокого гостя кратко и трезво, присутствовало в этом лаконизме нечто, заставившее Герцля вспомнить о еврейском мальчике в Палестине, в одном из основанных Ротшильдом поселений, обратившемся к нему накануне аудиенции у германского императора с вопросом: "Ты мессия?" Что-то от этой наивной веры было и в виленских евреях. И, как тогда, Герцль не без труда подавил раздражение, еще менее уместное здесь, чем в библейском пустынном ландшафте. Неужели ему не понятно, что находящиеся в отчаянном положении здешние евреи уповают на него и — может быть, всего на несколько часов, которые продлится его визит, — готовы признать его пророком, готовы признать исцелителем, вознамерившимся пролить бальзам на их незаживающие раны? И когда Герцль, перед тем как вернуться в дрожки, захотел было подать одному старику в драном кафтане серебряную монету, тот с гордостью человека, привыкшего к крайней нищете, отка-

зался: он видел Герцля, пояснил старый еврей, и этого ему достаточно. И Герцль не решился даже тайком опустить ему монету в карман драного кафтана.

Эта краткая встреча с обитателями виленского гетто на одной из его жалких улочек навсегда запечатлелась в памяти Герцля: незначительное, казалось бы, событие, крошечная крапинка на поверхности линзы, резко меняющая, однако же, общую панораму.

Продолжив путь, Герцль обнаружил, что находится под постоянным наблюдением. Для этого ему не понадобилось даже выделять в толпе бросающихся в глаза именно неброскостью своей одежды агентов тайного сыска, их взгляды буквально буравили ему спину. В одном из донесений, отправленных по инстанции уже после отъезда Герцля из Вильны, можно найти чуть ли не поминутное расписание его перемещений по городу:

"Проходя по главной улице, я заметил у Екатерининской площади толпу молодых евреев, насчитывающую около трехсот человек. Поговорив с некоторыми из них, я установил, что они собрались в связи с приездом Герцля и намереваются выразить ему сочувствие и поддержку, когда он проедет здесь мимо них, направляясь в главную синагогу, благо та находится как раз рядом... Объявив столпившимся, что скопление на улицах и в иных местах запрещено, я призвал их разойтись. Что и воспоследовало. Сам же я отправился к синагоге, у входа в которую вновь обнаружил толпу евреев... Зайдя в примыкающее помещение, я заметил, что всему внутреннему убранству придан праздничный вид. Присутствующие — а находились здесь члены правления синагоги, представители виленской еврейской интеллигенции и евреи из других городов, специально приехавшие поприветствовать Герцля, — были во фраках и смокингах, в белых галстуках и цилиндрах. Как посетители заведения, так и люди, оставшиеся на улице, пребывали в приподнятом, можно даже сказать, восторженном настроении по случаю приезда Герцля".

О тщательности, с которой велось наблюдение, свидетельствует приложенный к рапорту список участников торжественной встречи: "Прибывшего Герцля сердечно приветствовали члены синагогального правления Зольц (председатель), Яков Парнис,

Арие Найшуль, Абрам Каценеленбоген, Марк Эстерман, Давид Слонимский и Арон Липиц, раввин Марк Немзер, раввин Клячко и помощник раввина Самуил Шрайберг представляли раввинат, купцы Шварц, Шецкин, Гольдберг, Марецкий, Израиль Бунимович, Апатов, Бен-Якоб и Адольф Гордон, врачи Выгодский (в настоящее время депутат сейма) и Кон, владелец типографии Пирожников, помощники присяжного поверенного Фридман и Штейнберг — интеллигенцию".

Собравшиеся приветствовали Герцля длительными аплодисментами и восторженными восклицаниями; причем особенно часто звучала формула "великий сын еврейского народа", — и вновь это вызывало у него неоднозначные чувства. Однако Герцль чувствовал искренность этих слов — и этих людей, приветствующих его от имени всего виленского еврейства. А когда старый виленский раввин благословил его и староста еврейской общины преподнес в дар начертанный на пергаменте свиток Торы в футляре из резного дуба, у Герцля возникло ощущение, будто он находится в кругу собственной семьи. Он ответил собравшимся взволнованной благодарственной речью. Слишком велика оказанная ему честь, сказал он, и поэтому им еще не заслужена, — и подумал при этом о здешних мастеровых, с которыми он успел обменяться всего несколькими словами, тогда как наверняка стоило бы поговорить с ними пообстоятельней, и подумал о том, что великое дело всей его жизни, в котором он видит единственное решение еврейского вопроса, еще далеко не доведено до конца, хотя он и не позволяет себе хотя бы на мгновение усомниться в конечной победе. И, сказал Герцль, он прекрасно понимает, что страдания, испытываемые еврейским народом, слишком велики, чтобы у того оставалось достаточно терпения.

Благодарственная речь была задумана им самим как предельно краткая, но, глядя в лица собравшихся, ловя устремленные к нему взоры людей, которые не только внимали словам, но и, казалось, читали их у него по губам, Герцль (с отдельной оглядкой на предстоящий Базельский конгресс) решил призвать к единству и к совместной деятельности в интересах еврейской нации всю здешнюю публику, в которой, наряду с сионистами,

были, разумеется, и несионисты, а может быть даже, и антисионисты. И на какие-то минуты словно забыл о том, что стоит не на трибуне Базельского конгресса... "Передайте всем нашим братьям, — воззвал он, — что я прибыл сюда, чтобы выразить вам свою неколебимую уверенность в том, что из имеющихся способов окончательного решения еврейского вопроса возвращение в Сион является не только самым правильным путем, но и самым коротким!"

На обратном пути в гостиницу Герцль не без досады осознал, что сорвался в риторику, в литературщину, что словно бы вернулся в те годы, когда был не политиком, а публицистом и драматургом, но — как порой бывало с ним после произнесения чересчур пламенных речей и раньше — он утешил себя стандартной отговоркой политиков любого рода и ранга: если хочешь в чем-нибудь убедить людей, преподнеси свое мнение предельно эмоционально, зарази их не логикой рассуждений, а красотой и блеском пророчества. И если уж этим людям угодно видеть в нем пророка — пусть, разумеется, пророка современного, пророка во фраке и в цилиндре, — что ж, он готов сыграть и эту роль, лишь бы втолковать им — столь разным и разноречивым, — что они представляют собой единое целое и должны стремиться к общей цели независимо от того, близка ли она или еще невероятно далека. Эти люди нужны ему — и будут нужны и впредь. За каждым из них маячат тысячелетние тени угнетенного и затравленного российского еврейства, проживающего в самом большом в мире гетто, которое называется чертой оседлости. И пусть эти сотни тысяч, эти миллионы представляют собой всего лишь аморфную массу, когда-нибудь она станет могущественным воинством, которое под знаменем Сиона колонизирует палестинскую пустыню и учредит собственное суверенное государство. Или и это — надежда откровенно утопического свойства, — особенно если сравнить ее с реальностью, которая предстает и разворачивается перед ним прямо здесь, в Вильне?

Герцль видел людей, по-прежнему стоящих на тротуарах, видел горящие глаза, слышал восторженные выклики. Но и перемежаемые бранью крики полицейских, вытесняющих толпу с улиц, он слышал тоже. Он положил Тору в футляре из резного

дуба себе на колени и сейчас вцепился обеими руками в деревянную поверхность, словно ему, просвещенному и высокообразованному еврею, стоило немалых трудов не разразиться гневом или не разрыдаться от бессилия при виде грубой расправы над беззащитной массой простого еврейства на улицах Вильны, подвергшейся нападению сводных сил полиции и казачества только потому, что она выплеснулась из домов, приветствуя именно его, Герцля.

В Петербурге, садясь в поезд, он представлял себе свой приезд в Вильну совершенно иначе. После изнурительных, но в целом далеко не безуспешных переговоров с царскими министрами Плеве и Витте, после тщательно продуманной и превосходно, как по нотам, разыгранной сдержанной учтивости, которую проявила в связи с его визитом столичная полиция. Но здесь, в провинции (и, не в последнюю очередь, — в черте оседлости!), никто не церемонился, никто не возводил потемкинских деревень, здесь власть в открытую демонстрировала жестокость и силу. Ему казалось, будто чья-то невидимая рука отдернула занавеску, явив ему полный и окончательный образ царской России и беспросветность ситуации, в которой находится тамошнее еврейство. Тот образ, который так и не сумели внушить ему в достаточной мере ни сообщения русских сионистов, ни подробнейшие описания в венских, парижских и лондонских газетах. "Россия велика, а царь — далеко", — Герцль начал понимать зловещий смысл этой поговорки. Не просто красного словца, оперируя которым губернаторы самодурствовали у себя в губерниях, но целой системы поведения и управления, при помощи которой Николай II и его сатрапы, не пачкая собственных рук кровью, молча благословляли погромы вроде кишиневского и, в худшем для себя случае, возлагали ответственность за них на каких-нибудь мелких чиновников на местах. А доводилось ли высшим лицам и чинам государства бывать в той же Вильне? Совершали ли они инспекционные поездки по гигантскому гетто, расположенному в черте оседлости, эти господа министры Плеве и Витте? Наверняка нет. Если и знали что-нибудь о подлинном положении вещей, то лишь из подобострастных отчетов или заведомо пристрастных донесений агентов тайной по-

лиции, да и сами эти донесения наверняка фильтруют, прежде чем они попадут на стол в министерский кабинет. И Герцль вспомнил шикарную кожаную папку с золотым обрезом, с которой в его присутствии не раз сверялся Плеве.

День в Вильне подходил к концу. Предстоял еще, правда, заключительный банкет на даче у одного из вожаков виленского сионизма купца Бен-Якоба, расположенной в нескольких километрах от города в деревне Верки. Виленский полицмейстер позаботился и о том, чтобы воспрепятствовать притоку восторженных городских евреев в сельскую местность. Приверженцам Герцля надлежало оставаться дома!

Здешний пристав ни на мгновение не упустил высокого гостя из виду. И отчитался позднее перед начальником городской полиции: "В шесть вечера Герцль в сопровождении братьев Гольдбергов проехал по Георгиевскому проспекту... а затем вверх по улицам Кавалерийская и Лагерная. В конце Лагерной... Герцль вошел в один из домишек, в которых обитают мастеровые иудейского вероисповедания, и расспросил их о том, как им живется.

Проезжая мимо плаца, на котором в прошлом году был казнен государственный преступник Лекерт, Герцль встретился с также сидящим в дрожках Сегалем, и они провели короткую беседу. После чего Сегаль поехал в Вильну, а Герцль — в противоположную сторону, в поместье Верки. Там он остановился у купальни Ерусалимка и проследовал на дачу лесопромышленника Бен-Якоба. Там был дан обед на тридцать персон. Обед был приготовлен поваром Плотниковым, проживающим в Вильне, на улице Широкая, в доходном доме Адамовича.

Вплоть до начала трапезы вся компания, человек примерно тридцать, пребывала в саду, где доктор Герцль держал речь на немецком языке, выслушанную с большим вниманием. Из слов Герцля мне удалось уловить и записать следующее: "Нам необходимо занять твердую позицию и категорически потребовать... в противном случае, и мы и наши... как выжатые лимоны". Среди собравшихся были лесопромышленник Марецкий, банкир Элиашсон, доктор Кон, доктор Выгодский и домовладельцы Зольц и Парнис. Остальных мне опознать не удалось.

По окончании речей гости и хозяева проследовали на веранду, где был сервирован обед на тридцать кувертов. В числе гостей была молодежь обоих полов, распевавшая песни на языке идиш, в тексте которых часто встречалось слово "Сион".

Из села Верки Герцль примерно в полдвенадцатого вернулся в гостиницу "Георгий" и уже оттуда отправился на вокзал к отходящему в час ночи поезду".

Когда Герцль далеко за полночь отправился на вокзал, ему показалось, будто в городе никто не спит. Бесчисленные евреи высыпали на улицу, вышли на балкон или прильнули к окнам. Их приветственные возгласы заглушали скрип колес экипажа. И, как в час приезда Герцля, особенно большая толпа собралась на привокзальной площади. Но и здесь виленское начальство предусмотрело подобный поворот событий заранее. Пешие полицейские и конные казаки разгоняли толпу палочными тычками и ударами нагайкой. Герцль с ужасом наблюдал за этим. Смертельно-бледный, в состоянии, близком к обморочному, вошел он наконец в здание вокзала, герметически закупоренное полицией. Лишь немногим из виленских сионистов удалось не мытьем так катаньем преодолеть заградительный барьер. Они, предусмотрительно запасшись ручной кладью, выдали себя за отъезжающих и благодаря этому оказались пропущены на перрон. Однако Герцль, сдерживая бессильную ярость из-за событий, разыгрывающихся на привокзальной площади, отказался от каких бы то ни было демонстративных жестов. Не без труда дались ему и простые слова прощания: "Господа, не теряйте мужества. Грядут лучшие времена, грядут непременно, за это мы и боремся".

Еще раз он обменялся рукопожатиями и дружескими объятиями с остающимися на перроне и, не произнеся больше ни слова, зашел в вагон. Резко прозвучал гудок, извещающий об отправлении поезда. Состав тронулся с места. За окошком купе еще раз поплыла ночная Вильна. Но вот она осталась позади, растаяла во тьме. Последний свет в последнем окошке, последний взмах руки на прощанье — и вдоль дороги потянулись густые литовские леса.

О том, какое глубокое и длительное впечатление произвел визит Герцля на жителей Вильны, причем не только на евреев, можно прочитать в поданном год спустя на имя виленского губернатора отчете о деятельности литовских сионистов. Здесь, наряду с прочим, значится: "Влияние на еврейские массы, приобретенное сионистским учением, стало особенно очевидным в ходе кратковременного визита доктора Герцля. Для Вильны с ее стотысячным еврейством это событие стало воистину всенародным торжеством: множество евреев в праздничной одежде приветствовали его, как члена царской семьи; понадобились чрезвычайные полицейские мероприятия, чтобы тогда и в дальнейшем предотвратить целый ряд еврейских национальных сходок".

* * *

Пребывание в Вильне закончилось, оставшись всего лишь берущим за душу воспоминанием, печальным последним аккордом всего путешествия в Россию. Теперь Герцлю нужно было время для обработки тамошних впечатлений и составления развернутых выводов из проведенных в Петербурге переговоров, а по результатам всего этого — для нового анализа. Но как раз времени-то у него и не было. Всего день проведя в Вене, в кругу семьи, он вновь сел в поезд и отправился в Базель на открывающийся там шестой Всемирный конгресс сионистов.

Политику не выстраивают на эмоциях! В Санкт-Петербурге Герцль неукоснительно придерживался этого правила. А вот в Вильне, по меньшей мере на какое-то время, чуть было не изменил ему. Но теперь Герцлю вновь следовало разместить этот девиз у себя на щите и бесстрашно выступить против тех, кто отрицательно отнесся к его русской миссии еще до начала путешествия в Россию или как минимум не скрывал скептического отношения и к нему самому, и к ней. Провести переговоры с министром внутренних дел России — и не в какое-нибудь нейтральное время, а сразу же после кишиневских событий! Разумеется, ахи и охи послышатся и сейчас, причем куда более дружные, чем после его точно так же с трудом переваренных оппонентами переговоров в Англии. И громче всех прозвучит голос

российских членов исполнительного комитета. Но разве Герцль не вправе похвастаться успехами, разве не может предъявить им более чем примечательные результаты? Конечно, слова остаются словами, а ничем не подкрепленные заверения — пустыми обещаниями, однако эти обещания были даны ведущими политическими деятелями России, и их заранее в существенной мере одобрил (как заверил Герцля Плеве) сам русский царь. И сейчас обрушиться на Герцля с упреками и предъявить ему претензии по поводу того, чего он мог достигнуть, однако же не достиг, в поездке по России, предпринятой исключительно на собственный страх и риск, означало бы проявить преступную близорукость. Кроме того, нет ничего легче, чем судить издалека, — о Плеве, о Витте, о России и о ее еврейской политике как таковой; он ведь и сам грешил той же расплывчатостью суждений, пока не отправился в путь и не повидался в Санкт-Петербурге с министром внутренних дел. Но, конечно, имеется и определенная разница. В его случае речь ни на одно мгновенье не шла ни о скепсисе, ни о предрассудках; Герцль с самого начала осознавал, что и тот и другие — самые дурные советчики.

Разумеется, он отдавал себе отчет в том, что никаких письменных обязательств ему добиться не удалось, а значит, царское правительство, согласившись с ним на словах, не дало ровным счетом никаких гарантий. В некотором смысле ему придется подняться на базельскую трибуну с пустыми руками, не предъявив депутам конгресса ничего, кроме собственной уверенности в том, что и в России ему удалось приступить к решению еврейского вопроса, хотя бы в известной мере рассеяв господствующие там предубеждения против намерений и целей сионистского движения. И, не в последнюю очередь, царское правительство должно теперь несколько по-иному посмотреть на стремление русских евреев колонизовать Палестину. По меньшей мере, это должны признать и оценить скептики, которые наверняка отыщутся среди участников конгресса.

Однако они не признали и не оценили. Напротив, нашли как минимум маловероятным тот факт, что не кто-нибудь другой, а министр внутренних дел Плеве, кишиневский "мясник", как они его называли, способен пошевелить хотя бы мизинцем для об-

легчения участи российских евреев. Герцль, по словам оппонентов, попался на удочку министра внутренних дел России и позволил себя одурачить, как они и предсказывали заранее. И тщетно пытался Герцль уверить их в том, что, хотя отрицательное отношение Турции к палестинскому проекту и впрямь объясняется ближневосточной политикой России, но эта политика может и измениться в сторону поддержки сионистских планов и прямого заступничества перед Константинополем, о чем сказал и что прямо пообещал ему Плеве. В большом зале базельского казино Герцль призвал делегатов признать взвешенность и достоинство аргументации, предъявленной им в Петербурге министру Плеве, как признал серьезность этой аргументации сам министр, причем по всем трем основополагающим пунктам: 1) облегчение, по возможности, положения евреев в России; 2) необходимость заступничества царя при переговорах с султаном; 3) обеспечение большего оперативного простора русскому сионизму и деятельности сионистского движения в России. И подобное обещание, вырванное у Плеве, вне всякого сомнения, означает дипломатическую победу, которую вот так, за здорово живешь, со счетов не сбросить. Тем самым, говорил Герцль, не просто устранено неодолимое, казалось бы, препятствие, но и созданы предпосылки для единовременного кардинального изменения общего положения вещей. И если непосредственных результатов предстоит еще ждать и ждать, то оптимизма у приверженцев возвращения в Эрец-Исраэль должно прибавиться.

Оппоненты Герцля ответили дружным смехом; теперь его называли не только фантазером, но и лунатиком. Даже верные соратники, на понимание и поддержку которых он твердо рассчитывал, задумчиво покачали головами. Испытывая разочарование и досаду, Герцль с горечью осознал, что большинство делегатов конгресса не хочет или не может уловить главную мысль в его рассуждениях и потому отказывается хотя бы обсудить результаты поездки в Россию. И понял, почему: у этих людей, в отличие от него, не было надлежащего, хотя и невыносимого опыта — они не видели расправу над ликующей толпой в Вильне, они не заглядывали в глаза изверившимся и отчаявшимся российским евреям; у них просто-напросто отсутствова-

ло реальное представление о размахе полицейского произвола и масштабах угнетения и подавления. Как же внушить им, что настало самое время указать многомиллионному еврейству России, влачащему самое жалкое существование, единственную и кратчайшую дорогу к спасению?

Наряду со светом в конце тоннеля (а именно так воспринимал Герцль устную договоренность с Плеве), имелось предложение Англии предоставить евреям для поселения с последующей колонизацией находящуюся в восточной Африке Уганду, на которое сионисты еще не дали ответа. В разговоре с Плеве Герцль об этом даже не упомянул. Но здесь, на конгрессе, приложил все ораторское мастерство, для того чтобы убедить депутатов в том, что, не забывая, разумеется, о палестинской перспективе, нельзя отвергать с порога и такую возможность. Конечно, Уганда не Палестина, однако она может представлять собой разумный компромисс на пути к конечной цели. Ведь подобное предложение означает, что английское правительство наконец-то признало сионистское движение, подчеркнул Герцль, а значит, тем самым заложен первый камень еврейской государственности, пусть пока и на правах автономии. И прежде всего, это предоставляет никогда ранее не существовавший шанс отчаявшейся в стране обитания и стремящейся в эмиграцию основной массе российского еврейства, хотя, напомнил Герцль, и не только ей.

Конгресс проголосовал за отправку в Уганду целой комиссии, чтобы на месте выяснить тамошние условия и предпосылки для еврейской колонизации; однако окончательное решение по данному вопросу было перенесено на следующий конгресс. Причем сто семьдесят семь оппозиционеров, в большинстве своем — из России, проголосовали даже против создания комиссии по Уганде. Для них сама мысль о "еврейской Уганде" означала отказ от претензий на Палестину, которые (и которая) единственно могли искупить страдания, испытываемые еврейскими массами на Востоке. Хуже того, усмотрев в компромиссном решении предательство самой идеи сионизма, они с криками "Позор!" покинули зал конгресса.

Означало ли подобное поведение без малого двухсот делегатов всего лишь временный кризис, с какими Герцлю не раз

доводилось сталкиваться и ранее, был ли протестный уход из зала угрожающим жестом — и только им, или и впрямь возникла (с тем чтобы набрать силу впоследствии) опасность раскола всего движения? С горечью и гневом наблюдал Герцль за "исходом русских" из зала, выслушивая слово "предатель", адресованное, несомненно, лично ему. Конечно, в эти минуты было бы бессмысленно сойти с трибуны и броситься к покидающим зал с распростертыми объятиями и со словами утешения и примирения. Эти люди уже не были способными отреагировать на разумные доводы оппонентов, они превратились в одержимых слепой ненавистью противников, судя по всему, всерьез вознамерившихся обрушить с такими муками возведенное здание всемирного сионизма. Ярость охватила и самого Герцля, быть может, это заговорила ущемленная гордость, но уже через несколько часов он взял себя в руки и сумел трезво и тщательно обдумать происшедшее. Преодолев антипатию, он первым обратился к "мятежникам" и в конце концов уговорил их вернуться в зал заседаний. И он понимал, чем и как следует взять этих людей. По-актерски воздев правую руку, он обратился к залу, и прежде всего, к "мятежникам", со словами клятвы: "Да отсохнет моя правая рука, если я забуду о Тебе, Иерусалим!" Делегаты встретили эти слова бешеными рукоплесканиями, и Герцль почувствовал, что худшее осталось уже позади. Позади, но как знать, на какое время оно миновало? Наверняка следует исходить из предположения, что непримиримый спор по вопросу об Уганде еще не раз разгорится вновь.

Шестой Всемирный конгресс приобрел для Герцля воистину судьбоносное значение. Хотя опасность явного раскола движения оказалась до поры до времени преодолена, но саму эту болезнь всего лишь загнали внутрь. Никогда раньше Герцлю не доводилось терпеть в рамках собственного движения столь унизительной неудачи. И это поражение потрясло его не только как признанного вождя и всемирного глашатая сионизма, но и как гордого и сильного человека; потрясло как личность. К собственному разочарованию, он понял, что яростные возражения оппонентов находят отклик и у него в сердце, его самого одолевают сомнения, причем в такой мере, в какой ему не доводилось их

ощущать никогда. На спешно созванном заседании фракции он сообщил своим самым верным соратникам о том, что подумывает уйти со всех официальных постов в структурах сионистского движения. Слишком уж отчетливо он ощутил на конгрессе, что само движение находится на грани окончательного раскола, причем роковая трещина проходит, по слову поэта, через его сердце. "Я должен отойти от руководства, – сказал он товарищам. – Если вам хочется, я готов напоследок провести данный конгресс до конца, но затем следует избрать два отдельных исполкома – один по Уганде и другой по Палестине. А я не собираюсь входить ни в тот, ни в другой. Однако если члены любого из исполкомов когда-нибудь обратятся ко мне за советом, им в этом никогда не будет отказано. И, конечно, моя моральная поддержка всегда будет на стороне тех, кто стремится к исполнению заветной мечты".

В этих словах, как в зеркале, отражается овладевшее Герцлем на Шестом конгрессе смятение. Он чувствует себя опустошенным, выжатым досуха, как бы выжженным изнутри. Но неужели он и впрямь мог бы заставить себя в этот решающий для судеб движения момент отойти в сторону и погрузиться в частную жизнь, предоставив другим завершать то, что начато и, по сути дела, создано им самим? Реакция ближайших соратников на эти слова избавила Герцля от необходимости подвергнуть серьезность своего решения практической проверке. Потому что они идею его отставки категорически отклонили. И все же последнее голосование на конгрессе, в ходе которого Герцль вновь был избран президентом движения и всего три голоса было отдано против него, пусть и пролило бальзам на полученные в дни заседаний конгресса раны, но, разумеется, заживить их не сумело.

В подавленном состоянии покинул он Базель. У него не было никаких сомнений в том, что лишь в самый последний миг достигнутое примирение с оппозицией – успех только мнимый. В Палестину или в Уганду – это были не только дорожные указатели, подле которых столпились две стремящиеся в разные стороны фракции делегатов очередного конгресса. Решающий водораздел, по обе стороны которого бушует – и бушевала все-

гда — непримиримость, — вот что это такое; две взаимоисключающие концепции, возникшие одновременно с зарождением самого сионизма. На одной стороне "чистые" сионисты, появившиеся гораздо раньше, чем примкнул к движению сам Герцль, и неизменно стремящиеся водрузить на земле предков религиозно-ортодоксальное знамя идеалистически настроенного еврейства. На другой — те, кто готовы следовать за Герцлем по усеянному каменьями и все же куда более реалистическому пути политического сионизма. О каком единении здесь может идти речь даже чисто теоретически? Однако при помощи палестинского проекта — и Герцль понимал это — он мог бы привлечь на свою сторону подавляющее большинство русских сионистов. А вот промежуточное (оно же компромиссное) "угандийское" решение вопроса они отвергли в еще более категоричной форме, чем остальные представители сложившейся на конгрессе оппозиции. Герцль сознавал, что выбор исключительно труден, потому что в одинаковой опасности оказались как единство движения, так и его переговоры с правительствами великих держав, прежде всего, с Англией и с Россией. А что с Германией?

Герцль решил перед возвращением в Австрию заехать в замок Майнау. Там он встретился со своим старинным знакомцем и всегдашним покровителем великим герцогом Баденским. В ходе краткой беседы он проинформировал герцога о текущем состоянии дел и попытался убедить его в том, что теперь, после того как Россия и Англия выказали готовность к сотрудничеству, самое время взять политическую инициативу на себя германскому императору. Великий герцог отвечал весьма уклончиво: Германии следует выждать, пока Россия не предпримет чего-нибудь по итогам петербургских встреч Герцля. Этот ответ представлял собой, по сути дела, замаскированный вопрос. Вопрос, на который у самого Герцля не нашлось однозначного ответа. Но в самое кратчайшее время, сказал он герцогу, он обратится к царскому министру внутренних дел Плеве с напоминанием о данном тем обещании. Вот и хорошо, сказал герцог, тогда и вернемся к этому разговору.

Герцль уже давно привык к тому, что каждый, с кем он ведет переговоры или доверительные беседы, оставляет себе запасной

выход и, получив мяч, тут же отпасовывает его обратно. Так было в Лондоне и в палаточном лагере германского императора у въезда в Иерусалим, не иначе обстояло дело и в Константинополе, и, разумеется, в Петербурге. Устное одобрение и фактическое согласие противоположной стороны всякий раз звучали двусмысленно, и практическая реализация вроде бы достигнутых соглашений неизменно требовала дополнительной работы на уровне чисто дипломатической рутины.

Но оставались ли у Герцля на это силы после всего, что пришлось ему пережить на конгрессе?

Герцль вернулся домой тяжело больным человеком. Испытания и потрясения, обусловленные поездкой в Россию и практически сразу же вслед за ней начавшимся и продлившимся целую неделю Базельским конгрессом, не прошли для него даром. Прежде всего, это отразилось на сердце. Тем не менее, он уделил столь необходимому сейчас отдыху всего несколько часов. Прогулки по идиллическим окрестностям летнего курорта Альт-Осси и по тамошнему променаду были омрачены ни на мгновенье не оставляющими думами и сомнениями.

Разве не он сам перед отъездом из Базеля серьезно взвешивал возможность сложить с себя все полномочия в рамках сионистского движения, выбив тем самым главный козырь из рук политических оппонентов? Но такой поступок оказался бы равнозначен капитуляции, драматическое эхо которой прокатилось бы не только по рядам сионистов, но непременно отозвалось бы повсюду — от Лондона до Санкт-Петербурга. Герцль сдался, вождь всемирного сионизма вывесил белый флаг! Герцль живо представил себе, как Плеве у себя в кабинете снимает с полки роскошную папку с золотым обрезом и, презрительно улыбаясь, хотя, не исключено, испытывая и некоторую досаду, разбирает переложенные закладками документы. Да, именно так, — с презрением и досадой! И разве поняли бы Герцля разогнанные полицией в день его приезда, но так и не ушедшие с улиц виленские евреи? Их пророк, их Моисей (одному Богу ведомо, кем на самом деле они его считают) бросает их в годину опасности и губит тем самым прекрасную мечту о Сионе!

Герцль улыбнулся — мучительно и, вместе с тем, снисходительно к самому себе: то была минута слабости, но никак не более. Уже в Майнау ему удалось полностью восстановить уверенность в собственных силах. Бросив взгляд из окна кабинета на горную вершину, маячащую на горизонте, Герцль подвел трезвый и честный баланс:

Россию, имея в виду переговоры с Плеве и Витте, надо несомненно записать себе в актив. И здесь железо следует ковать, пока оно горячо. Сюжетный замысел, пусть и проработанный во всех деталях, это еще не пьеса, постановка которой обернется театральным триумфом. И течение конгресса лишний раз доказало ему это. Возможно, отправившись в Базель сразу же по возвращении из России, он несколько переоценил свои тамошние достижения или, как минимум, то впечатление, которое они должны произвести на делегатов конгресса. Вообразил себя чуть ли не ангелом — то есть высшим существом, приносящим благую весть! А ведь ничего, кроме двусмысленной, на делегатский слух, вести, он преподнести им не смог или не сумел. Значит, победоносный подход к делу оказался тактической ошибкой. И хотя его достижения в России и впрямь оказались весомыми (по меньшей мере, для тех, кто не решил загодя, еще до начала конгресса, утверждать прямо противоположное), руками-то их было не пощупать! А вот альтернативное предложение английской стороны оказалось более чем осязаемым. Конечно, неоднозначное и, в известной мере, сомнительное предложение, однако как раз поэтому его имело смысл сделать отправной точкой дальнейших переговоров. И, скорее всего, угандийский вариант куда реалистичнее, чем упомянутые Англией в этой связи ранее Кипр или "египетская Палестина", против которой, разумеется, категорически выступило бы египетское правительство. И понятна (до некоторой степени понятна) реакция русских делегатов конгресса и прежде всего — сионистов из Кишинева. Они — в самооценке — повели себя честно и благородно. Правда, но это уже на его собственный, Герцля, взгляд, — близоруко. И все же ему следовало проявить большую гибкость. И главное, ни в коем случае не допустить столь резкой конфронтации. Конечно, дело сионизма не разбилось по итогам конгресса вдребезги, однако пошло тре-

щинами, наспех и кое-как залатанными и залепленными — и способными в любой момент обрушить всю конструкцию, если он сам не примет достаточно энергичных контрмер. Ну и какой же из всего этого следует вывод? Взять себя в руки, забыть обиду, пренебречь собственной гордостью, избавиться от разочарования и гнева, — и сосредоточиться на главном, на насущном, на сугубо конкретном. И продолжать продвижение вперед без оглядки на то, сколько горных вершин еще предстоит покорить и сколько пропастей перепрыгнуть одним прыжком.

Герцль уселся за письменный стол и принялся за письмо: "Его светлости господину Плеве, государственному секретарю и министру внутренних дел России".

Исписав несколько страниц, он подробно изложил русскому министру драматическое течение Базельского конгресса и конфликтную ситуацию, сложившуюся в результате "угандийского" предложения Англии, пренебрежительно и гневно отвергнутого представителями "палестинской" фракции, состоящей чуть ли не полностью из русских сионистов. Его самого, не утаил от министра Герцль, обвинили в измене общему делу. А те немногие делегаты из России, которые проголосовали за принятие английского предложения, сделали это исключительно из личной симпатии к Герцлю и веры в то, что, даже согласившись на восточно-африканский вариант на словах, он никогда не даст сигнала к общему исходу в означенном направлении. И Герцль вновь напомнил Плеве о согласии того выступить ходатаем перед Николаем II, с тем чтобы самодержец, в свою очередь, повлиял на турецкого султана. Сейчас, подчеркнул Герцль, все зависит от этого и только от этого. И на этом же основываются все его надежды. А если они не сбудутся, то с ним самим, равно как и с политическим сионизмом, будет покончено — и верх возьмет партия, ориентирующаяся на революцию в России. Герцль прекрасно понимал, что подобный поворот событий никак не может устроить хитрого лиса Плеве. И вновь попросил министра внутренних дел о протекции перед государем:

"Заступничество Его Величества перед турецким султаном наверняка окажет решающее воздействие... Я представляю себе

это вмешательство следующим образом: если Его Величеству самодержцу соблагорассудится передать мне грамоту, одобряющую палестинский проект, я предъявлю ее Его Величеству султану, соблаговолившему предоставить мне аудиенцию еще в 1901 году. И если одновременно и наряду с этим посол России в Константинополе получит инструкцию поддержать мой демарш, я немедленно отправлюсь в Константинополь, питая надежду на успех, переходящую в полную уверенность... Что касается Германии, то, как мне представляется, с ее стороны препятствий возникнуть не должно. Я имел честь получить в замке Майнау аудиенцию у великого герцога Баденского, и его королевское высочество соизволили дать мне понять, что немецкое правительство не будет иметь ничего против исхода русских евреев в Палестину, хотя и не готово взять инициативу в свои руки.

И наконец, наверняка не будет преувеличением подчеркнуть, что английский кабинет, уже доказавший сделанным им великодушным предложением свое небезразличие к судьбе нашего несчастного народа, поможет нам и в деле колонизации Палестины.

Так что все зависит исключительно от действий кабинета Его Императорского Величества, причем, по возможности, безотлагательных... Как мне представляется, вопрос поддается решению в кратчайшие сроки, если, разумеется, мои усилия будут надлежащим образом поддержаны. И это означает, что еврейская эмиграция из России может начаться уже через несколько месяцев.

Нижайше ожидаю решения кабинета Его Величества".

Этим письмом к Плеве Герцль куда решительнее и безоговорочнее, чем в предыдущие две недели, вывел на авансцену палестинский проект, прекрасно понимая, однако же, что тем самым ни в коей мере не отказывается от промежуточного и компромиссного угандийского. Прежде всего следовало оказать помощь влачащей жалчайшее существование массе российского еврейства — причем сделать это надо было как можно быстрее. Их отчаяние и надежды ни в коем случае нельзя было откладывать в долгий ящик. Царю и царскому правительству надлежало наконец-то понять это — или они окажутся выставлены на посмешище перед всей Европой. Но в такой поворот событий

Герцлю верить не хотелось, по меньшей мере, с тех пор, как ему довелось побывать в Петербурге и побеседовать с глазу на глаз сперва с Плеве, а потом с Витте. Потенциал загнанной в глубь агрессии, накопленный угнетаемым еврейством России, был настолько велик, что не заметить это мог разве что слепец, а слепцами оба всесильных министра не были. До сих пор русские евреи безропотно покорялись бесчинству кишиневской черни и произволу виленской полиции, но такое положение не могло сохраниться надолго. И кто возьмется предсказать, много ли времени потребуется евреям на то, чтобы вместо замышляемого ими ныне панического бегства из России — в любую европейскую страну и даже за пределы Европы, где они в любом случае оказались бы — хотя бы на первых порах — отверженными, с еще большей решимостью, чем сейчас, влиться в революционное движение, и без того набирающее силу в России, или в массовом порядке перейти к вооруженной самообороне? Решить эту проблему можно лишь совместными усилиями сионистов и царского правительства. А тот факт, что при подобном стечении обстоятельств большинство покидающих Россию евреев устремится в Палестину, на Землю обетованную, не вызывал ни малейшего сомнения.

Вспомнив свои разговоры с генералом в отставке Киреевым и с начальником департамента Министерства иностранных дел Гартвигом и не желая пренебречь малейшей возможностью дополнительного заступничества в Санкт-Петербурге, Герцль написал сейчас так же им обоим. Никогда ранее, даже в ходе дискуссии с российскими делегатами, развернувшейся на последнем конгрессе, он не ощущал себя подлинным заступником русского еврейства сильнее, чем сейчас. Вослед за письмами в Россию, были написаны и отправлены и другие — послу Германии в Вене, великому герцогу Баденскому, лондонским банкирам. В конце концов Герцль обратился даже к папе римскому, испросив согласия на еврейскую колонизацию Палестины и, разумеется, дав гарантию неприкосновенности тамошних католических святынь. Казалось, он ощутил приток свежих сил. Даже подпись под письмами стала столь же самоуверенно-размашистой, как прежде.

Но как раз в этой фазе Герцля поджидал предательский удар в спину, угроза которого выявилась, впрочем, еще в ходе конгресса. Один из ведущих русских сионистов инженер Усыскин из Екатеринославля не приехал на конгресс, ограничившись отправкой приветственной телеграммы, текст которой сам Герцль, однако же, принял к сведению с явным неудовольствием. Усыскин еще в июне побывал в Палестине и развил там активность, так сказать, на собственный страх и риск. В компании с несколькими единомышленниками и, разумеется, с колонистами он созвал альтернативный, так называемый "палестинский" конгресс и вдобавок к этому принялся в частном порядке скупать у арабов землю. Герцль раздраженно прореагировал на обе инициативы Усыскина, успевшего к тому времени выступить в печати с острой критикой трактата "Еврейское государство" как произведения более чем поверхностного и не делавшего секрета из категорического неприятия им угандийского проекта. Герцль в резкой форме отклонил и осудил "самодеятельность" Усыскина в статье, опубликованной во влиятельном журнале "Вельт". Деятельность Усыскина приносит делу сионизма только вред, написал он. Приобретение сионистами земельных участков в Палестине может и должно проводиться исключительно на основе международных правовых гарантий, как это и сформулировано в "Базельской программе". В той же статье Герцль вновь выступил в поддержку угандийского проекта, руководствуясь доводами разума, поскольку душа не лежала к такому и у него самого, и назвал его вполне уместным промежуточным решением на пути к конечной цели, которой, конечно же, является защищенное международными гарантиями независимое еврейское государство в Палестине. Однако этой статье откровенно не хватало всегдашней у прежнего Герцля неумолимой логики, одни ее постулаты приходили в противоречие с другими. Кроме того, раздражение самоуправством Усыскина подвигло Герцля на формулировки, граничащие с личными оскорблениями. Поэтому и отклики на статью в "Вельт" оказались как минимум неоднозначными. Конечно, в стане сионистов к мнению Герцля еще прислушивались, однако и число противников неумолимо росло. Трещина, возникшая на конгрессе, углублялась и расползалась.

И это был уже не первый поединок Герцля с "неистовым Роландом", как порой именовали Усыскина, и его укорененными в религиозной традиции идеями. Еще в написанном на рубеже веков утопическом романе Герцля "Древняя новая родина" высмеивается узколобость некоего фанатичного еврейского националиста, которому вольно или невольно приданы многие черты Усыскина.

Герцль и сам в эти дни пребывал в полной растерянности. Самоуверенно-размашистая подпись под письмами была своего рода самообманом. Смятение охватило его ничуть не в меньшей мере, чем в Базеле, — в те часы, когда он объявил ближайшим сподвижникам о том, что покидает все посты в сионистском движении. Именно в таком настроении он и набросал черновик "Обращения к еврейскому народу". В этом "Обращении" речь идет о трещине, проходящей через сердце вождя сионизма, и о последствиях, со всей непреложностью из такой ситуации вытекающих. И, еще раз изложив собственную позицию и поклявшись в верности идеям сионизма, Герцль со всей откровенностью пишет далее, что Палестина, которую можно было обрести еще в 1901 году, прислушайся тогда кто-нибудь к его словам, обернулась недостижимой целью и останется таковой в обозримом будущем. Это был серьезный упрек как соратникам, так и оппонентам, и Герцль усугубил его следующим пассажем: "Раз вы этого сами не желаете, то сказка в наше время не станет былью!" Разумеется, остается в высшей степени сомнительным, что Турция согласилась бы в 1901 году на массовую колонизацию Палестины евреями, даже если бы те смогли изыскать на нее у своих богатых европейских соплеменников и единоверцев достаточные финансовые средства. Необходимо также задаться вопросом, искренни ли были эти сетования вождя мирового сионизма или же упоминание нереализованной возможности являлось всего лишь отчаянным жестом утопающего, хватающегося за соломинку. Но как бы то ни было, Герцль в очередной раз (и, не исключено, с оглядкой на виленские впечатления) призвал сионистов сделать хоть что-нибудь для облегчения участи порабощенной еврейской массы. Уточнив, что это будет возможно только после обретения твердой почвы

под ногами, — собственной территории, которая, на его взгляд, может находиться хоть в Уганде. Тогда как категорическое противопоставление угандийского и палестинского проектов неминуемо приведет к расколу, уменьшить масштабы которого он, Герцль, сможет единственно собственной отставкой: "Тогда я покину движение, не потребовав ничего взамен, и мое решение не будет предосудительным. Сообразно своим скромным силам, мне удалось разбудить еврейский народ и создать для него организационную структуру. Я уйду, не ожесточившись и не обидевшись. Конечно, со мной боролись, на меня клеветали, меня оскорбляли, но, поскольку даже злейшие враги не могут попрекнуть меня тем, что я преследовал личные цели или искал материальную выгоду, не говоря уж о том, чтобы и впрямь извлечь ее, все остальные нападки я имею полное право оставить без внимания и ответа".

Это исповедальное письмо так и осталось черновиком и, возможно, не в последнюю очередь, не было предано огласке потому, что Герцль, едва вернувшись в Вену, получил тревожные сообщения из России. В Харькове прошла конференция ведущих сионистов России, равнозначная мятежу против него самого. В ходе жарких дебатов на конференции, участники которой с самого начала отказались рассматривать какой бы то ни было проект, кроме палестинского, подверглись уничижительной критике стиль руководства, практикуемый Герцлем, его переговоры с министрами царского правительства и, как это было сформулировано, его безответственное шараханье из стороны в сторону в вопросе о территориальном решении еврейской проблемы. Под сомнение оказалась поставлена деятельность всего центрального исполкома всемирного сионистского движения и прежде всего она была осуждена как антидемократическая. Конференция подавляющим большинством голосов потребовала предоставления русским сионистам большей самостоятельности, потому что, как было подчеркнуто, им одним известно, что хорошо, а что плохо для всего российского еврейства, предъявив Герцлю тем самым ультиматум. Это было равнозначно объявлению войны — да еще той стороной или, если угодно, той страной, за освобождение которой Герцль так отчаянно и неустанно

сражался в Петербурге! Что же можно было теперь к этому добавить? Разве раскол движения не приобрел необратимые очертания? И разве не превратились отныне письма, которыми с недавних пор Герцль начал обмениваться с русским министром внутренних дел Плеве, в ничего не стоящую бумагу?

Правда, и в России у Герцля оставалось немало сторонников. Но и они начали выказывать теперь свою озабоченность. Так, в одном читательском письме, опубликованном в петербургской "Будущности", значилось: "Ходят слухи, будто кое-кто из полномочных представителей всемирного сионистского движения в России, будучи недовольны решениями Шестого конгресса и желая спасти "чистый" сионизм, решили предъявить д-ру Герцлю ультиматум, оскорбительный не только для нашего достославного вождя, но и для всех, кто остается верен ему. Поговаривают также, что сам этот ультиматум является простой формальностью, потому что д-р Герцль непременно должен отклонить его, в результате чего полный и окончательный разрыв с ним станет уже неизбежен".

Герцль оказался в безвыходной, на первый взгляд, ситуации. Конечно, он понимал, что делегаты Харьковской конференции искренне озабочены судьбой движения, однако их нелепые требования, сводящиеся, по сути дела, к переходу всего всемирного движения во власть русского сионизма, были, разумеется, неприемлемы. И когда к нему в Вену прибыли представители харьковских мятежников — и прибыли именно затем, чтобы предъявить ему ультиматум прямо в лицо, он просто-напросто распорядился их не пускать. И далось это ему тем легче, что другая непосильная ноша внезапно свалилась у него с плеч: Англия ни с того ни с сего резко разочаровалась в угандийском проекте.

Вновь на авансцену выдвинулась Палестина, а значит, у Герцля появилась возможность опереться в решающем вопросе на поддержку большинства сионистов. Правда, раскол движения вовсе не оказался тем самым преодолен. Прежде всего — в кругу русских сионистов; новые, половинчатые и уклончивые предложения английской стороны — в любом случае, однако же, исключавшие малейший намек на Палестину, — были в этом кон-

тексте предельно взрывоопасны. В письмах на имя Плеве Герцль настойчиво призывал царского министра внутренних дел сделать наконец все от него зависящее и давным-давно обещанное и добиться заступничества Николая перед турецким султаном. Ответ Плеве, согласно которому министр поручил русскому послу в Константинополе предпринять соответствующие шаги в турецкую сторону, его не устроил. Герцль по-прежнему цеплялся за высказанную еще в Петербурге мысль о личном посредничестве царя, а если и об отказе от такового, то тоже личном. Только так можно было запустить турецкую бюрократическую машину. И хотя Герцль ни на минуту не усомнился в том, что Плеве прекрасно информирован об истинном положении дел в России, в очередном письме к министру он сослался на донесшиеся даже до него в Вене слухи об ожидающихся в России погромах. И не имеет значения, действительно ли Герцль прослышал нечто соответствующее действительности или использовал откровенно паникерские разговоры и настроения для дополнительного давления на Плеве, в любом случае не мытьем так катаньем он решил принудить русского царя и правительство начать наконец действовать. И, чтобы придать всем этим усилиям дополнительный вес, Герцль послал в Петербург в качестве своего доверенного лица все того же Кацнельсона, чтобы тот, действуя прямо на месте, добился все еще не полученного разрешения на открытие филиала Еврейского колониального банка.

В эти месяцы Герцль вел войну на несколько фронтов сразу. И проявлял при этом активность, практически непосильную для его изнуренного тела и пошатнувшейся психики. И все же вошел в новую фазу уверенности в собственных силах. В письме великому герцогу Баденскому он известил своего постоянного благожелателя об ожидающихся шагах русского правительства в Константинополе и попросил его замолвить словечко в Берлине перед Вильгельмом, с тем чтобы немецкий посол в Турции получил указание поддержать инициативу российского. Одновременно он еще раз обратился к своим турецким партнерам по когдатошним переговорам в Константинополе и выехал в Италию, вознамерившись заручиться поддержкой палестинского проекта у папы

Пия X и короля Виктора-Эммануила III. Но и в Риме, даже если отвлечься от явного нежелания папы выстлать пухом дорогу в Палестину для не верующих в Христа евреев, все свелось к тому, что первый шаг надлежит сделать России, а уж потом и остальные могли бы призадуматься над тем, не предпринять ли что-нибудь в том же духе.

Борьба, которую продолжал вести Герцль, одолеваемый кошмарами, в которых все предпринимаемые им усилия, да и вся его жизнь казались никому не нужными и бессмысленными, все больше походила на схватку с ветряными мельницами, в которую вступил воспетый Сервантесом Рыцарь Печального Образа. А после поездки в Италию Герцль, по свидетельствам очевидцев, стал походить на Дон Кихота даже внешне — причем на Дон Кихота в самом конце его долгих странствий. Вот как описывает Герцля один из немногих допущенных к нему в те дни посетителей: "На смену гордой осанке пришла сутулость, лицо стало болезненно-желтым, глаза, зеркало высокой души, — бесконечно печальными, уста искривлены страдальческой усмешкой".

В нем почти ничего не осталось от того Теодора Герцля, который, будучи полон уверенности в собственных силах, отправился в начале августа 1903 года из Вены в Санкт-Петербург — в пресловутое "русское путешествие", на которое он возлагал тогда столько надежд. Но у него еще доставало сил, чтобы предпринять последнюю отчаянную попытку спасти дело своей жизни и добиться основанного на взаимопонимании примирения со своими оппонентами в рамках всемирного сионистского движения. Через полгода после поездки в Россию он созвал в Вену и сторонников, и противников на чрезвычайное заседание расширенного исполкома.

Речь, произнесенная им на этом заседании, входит в число лучших, какие он держал когда-либо, и кое-кому показалось, будто Герцль огласил собравшимся свое политическое завещание. Он начал эту речь такими словами: "Я решил обратиться к вам со словами мира — и только мира. Я знаю, какой разброд идет сейчас в массе наших отважных и достойнейших сионистов по всему миру, а в особенности — в России... Что касается лично меня, то я отказываюсь от каких бы то ни было обид и

претензий, я забываю о них и впредь не вернусь к ним хотя бы словом. Но память возвращается ко мне, когда речь заходит о сохранности и целостности нашей организации, о направлении наших усилий, о стремлении к общей цели и о решении конкретных задач, чем мы, собственно говоря, и обязаны заниматься на основе мандата, выданного нам Конгрессом".

Герцль еще раз упомянул ход и характер прений на последнем Базельском конгрессе, дополнительно проаргументировал собственное приятие угандийского проекта как временного или же переходного решения и категорически подчеркнул, что и на мгновение в мыслях не держал отказываться от проекта палестинского как от вымечтанной и единственно желанной окончательной цели.

Прения по его докладу, опять-таки бурные и противоречивые, растянулись на два дня. С удивительным для него терпением выслушивал Герцль непреклонных оппонентов, сглаживая в ответных репликах остроту полемики и переводя разговор исключительно на существо дела. И кое-кто из участников конференции, отличающийся достаточной наблюдательностью, с изумлением и не без тревоги констатировал, что "венский" Герцль разительно отличается от "базельского". Конечно же, вне всякого сомнения, он оставался все тем же общепризнанным вождем всемирного сионистского движения. И все же — далеко не тем же... В звучании его речей, в жестикуляции, которыми они сопровождались, отсутствовал всегдашний блеск или, вернее, тот ветхозаветный огонь, которым былой Герцль умел воспламенить слушателей и заставить в ужасе отпрянуть еще недавно выглядевших предельно самоуверенными оппонентов. Огня не было, но жар еще оставался, могучий жар, не ощутить которого не смог бы никто из членов расширенного исполнительного комитета, съехавшихся в Вену, будь он приверженцем Герцля или его противником. Нынешний Герцль чрезвычайно аккуратно выбирал выражения, семь раз отмерял, прежде чем отрезать, он защищал дело своей жизни перед теми, каждый из которых так или иначе внес в это дело свою лепту, он признавал прошлые ошибки, в том числе и собственные, и тем решительнее призывал к единству. Он боролся за утраченное было едино-

душное доверие сионистов, обретенное им еще в ходе Первого базельского конгресса и пошедшее столь драматическими трещинами в самые последние месяцы.

Никакого единения ему добиться не удалось, да вряд ли он на это и рассчитывал. Но легкое дыхание примирения веяло над головами уже засобиравшихся по домам делегатов. Герцль с удовлетворением записал себе в актив тот факт, что даже русские сионисты избавились от предубеждения против него в качестве единственного вождя всемирного движения. Теперь мысленный взор каждого устремился к предстоящему Седьмому конгрессу, и все согласились с Герцлем в том, что остающиеся острыми вопросы должны быть обсуждены там без какой бы то ни было предвзятости.

Лишь ближайшие сподвижники Герцля осознавали, чего стоили ему титанические усилия, предпринятые в эти дни. И все же он строил новые планы, он замышлял поездку в Париж и отдельно — в Лондон. Слишком многое оставалось в подвешенном состоянии, дожидаясь окончательного решения в ту или в другую сторону. Но больное сердце Герцля уже не выдерживало подобной перегрузки. По настоятельному совету врачей он отправился на отдых и лечение во Франценсбад. И оттуда вновь разослал серию писем — в Рим, в Вену, в Санкт-Петербург. В петербургском письме, адресованном Плеве, речь, как и в прошлые разы, шла о необходимости сделать хоть что-нибудь для облегчения участи российского еврейства. Что же касается собственной участи, то на сей счет — после очередного и крайне тяжелого сердечного приступа — у Герцля уже не оставалось никаких иллюзий. Заехавшему во Франценсбад проведать Герцля Кацнельсону он с усталой усмешкой на губах объявил: "К чему обманываться? В моем случае третий звонок уже прозвенел. Я не ослаб духом и ожидаю близкого конца совершенно спокойно, тем более что последние годы жизни оказались потрачены далеко не впустую. Я ведь не оказался нерадивым служкою во храме нашего движения, не правда ли?"

После того, как стало ясно, что лечение не увенчалось успехом и состояние здоровья Герцля только ухудшилось, он вернулся в Вену — физически сломленный и уже носящий на челе

печать смерти. Однако климат в австрийской столице подходил ему еще меньше, и вот, в начале июня 1904 года, он в сопровождении преданно и самоотверженно заботящейся о нем супруги выехал в Эдлах на горе Земмеринг. Это был один из популярнейших горных курортов, и здесь ему и впрямь несколько полегчало, и он преисполнился новым оптимизмом. Увы, напрасным... Это был последний всплеск жизненных сил. И 4 июля 1904 года земной путь Теодора Герцля завершился. Было ему тогда сорок четыре года.

И, по случайному совпадению или же в силу часто поминаемой поговорки о том, что несчастья ходят парой, через три недели в Петербурге бомбист-революционер убил министра внутренних дел Плеве. Разрыв бомбы прозвучал дальним зловещим салютом над могилой Герцля.

Мир не содрогнулся, когда скорбная весть из Вены распространилась по странам и континентам. Он был слишком занят самим собою. Лишь в нескольких столицах — в Париже, в Лондоне, в Берлине и в Санкт-Петербурге — вздохнули, возможно, тамошние чиновники: "Ах да, Герцль... Значительный человек. Пожалуй, это потеря". Газеты — да и то далеко не все — поместили более или менее краткие сообщения — в зависимости от собственного политического курса. В стане сионистов на время (пусть и на весьма недолгое) забыли о кричащих противоречиях и облачились в приличествующий обстоятельствам траур. Друзья и сподвижники горевали; к тому же, они сразу же начали догадываться, что с кончиной Герцля сионистское движение расколется окончательно. Горькие вздохи и безысходные стенания прокатились однако повсюду — от Франции до России и от Палестины до Америки, — где во градах и весях жили евреи, величайшая надежда которых была связана с именем Теодора Герцля, посулившего им не только независимое еврейское государство, но и новое — справедливое и гуманное — общественное устройство, при котором все они почувствовали бы себя воистину свободными людьми.

В санкт-петербургском русско-еврейском журнале "Будущность" в нескольких номерах подряд печатались слова прощания и

преклонения — последняя дань российского еврейства великому современнику и вместе с тем первые отклики на страшную потерю. Едва ли не самым прочувствованным оказался опубликованный раньше остальных, тогда как в последующих — и куда более трезвых — порой предпринимались попытки подвергнуть деятельность вождя сионизма критическому анализу:

"...Невозможно передать ощущение воистину невыносимого страдания, охватившего евреев, сионисты они или нет, при известии о безвременной кончине. Все были потрясены и смогли в смятении твердо и горько осознать лишь одно: для всего еврейского народа этот уход обернется катастрофой, масштабы и последствия которой непременно окажутся ужасными. Прошло всего несколько дней — и всеобщая печаль многократно возросла. Всему еврейству разом снится словно бы невыносимо страшный сон. Следует признать, что ничья смерть не потрясала еще еврейство столь сильно и единодушно. Плач и стенания охватили наш народ и раскатились по небу над крышами домов, в которых живут рассеянные по свету евреи. И это вовсе не истерия, сформировавшаяся и накопившаяся за годы и столетия адских мучений в гетто и теперь выплеснувшаяся наружу. Это совершенно естественное явление. Смерть Герцля означает уход не только создателя и вождя сионистского движения, но и великого предсказателя горьких несчастий всего еврейства...

Герцля нет с нами — и люди плачут. Да, нам и нужно плакать, потому что так велика потеря. Но нельзя отчаиваться. Герцль был первым, но конечно же не единственным из подлинно народных еврейских вождей... Разумеется, сейчас не видно никого, кто мог бы занять оставленное им место. Среди нас нет никого, достойного хотя бы приблизиться к этому гиганту, безвременно покинувшему нас в эту решающую годину. Но пройдет какое-то время — и из гущи народной непременно поднимется новый герой. Лишь бы уцелел народ, а за вождем дело не станет!

...Но над этим надо работать всем, кто чувствует себя воистину ответственным за судьбы соплеменников. Храня благоговейную память о нашем первом всенародном герое, нельзя пренебречь и его заветом, а значит, нам требуется отдать все силы

начатому им делу объединения народа. Да осенит нас и наши труды его великая тень, да вдохновит она нас на новые усилия, да вдохнет в наши сердца новое мужество.

Такова лучшая дань наша новому Маккавею, единственному в своем роде герою, вождю воссоединяющейся нации.

Да останутся он и память о нем с нашим народом навсегда!"

Однако даже в этих бесчисленных читательских откликах на кончину вождя никто и словом не обмолвился о пребывании Герцля в Санкт-Петербурге и в Вильне. Возможно, соответствующие строки вычеркивала из писем и статей с оглядкой на неизбежную цензуру сама редакция "Будущности". Однако ведь можно было хотя бы упомянуть о встрече Герцля в ходе в целом неофициальной поездки с представителями еврейской журналистики, прошедшей в гостинице "Европейская" и освещенной, наряду с прочим, в той же "Будущности". Как бы то ни было, кончина Герцля стала для униженного и преследуемого русского еврейства не только мучительной потерей, она развеяла в прах надежду и нанесла удар, оправиться от которого оно сумело лишь три четверти столетия спустя.

Своей русской миссией, которая в случае успеха увенчала бы собой его многолетние дипломатические усилия, Теодор Герцль указал направление дальнейших поисков и стремлений, проторил путь в Сион не одним только российским евреям. Но Россия с ее огромным, пусть так и не реализованным в надлежащей мере, потенциалом давления на Турцию, могла сыграть в этом деле решающую роль. Но что мог поделать Герцль и в ходе самой поездки, и в дальнейшей переписке с министром внутренних дел Плеве с безучастной, самое меньшее, позицией, занятой по этому вопросу самодержцем? Сейчас известно, что как раз в те дни, когда Герцль в апартаментах гостиницы "Европейская" тщетно дожидался известия о предоставлении ему высочайшей аудиенции, Николай II неофициально принял председателя реакционного "Союза русского народа" и одного из вожаков пресловутой "Черной сотни", печатные издания которой просто дышали зоологическим антисемитизмом. А когда один из высокопоставленных вельмож указал государю на рискован-

ность столь доверительных приватных аудиенций, царь с обескураживающей наивностью ответил: "Разве я не имею права поинтересоваться тем, что думают люди воистину верноподданные и без каких либо оговорок мне лично преданные?"

Так что же, русская миссия Герцля завершилась провалом? Вне всякого сомнения, ему в ходе двух личных встреч с Плеве так и не удалось добиться решающего прорыва; более того, даже по вопросам, находящимся исключительно в ведении министра внутренних дел, Герцль, несмотря на достигнутое вроде бы взаимопонимание, не получил ничего, кроме устных уверений, да и то практическая реализация соглашения могла бы, по словам Плеве, начаться лишь по одобрении его инициатив царем — по одобрении уже на тот момент гадательном и в конце концов так и не полученном. И оптимизму, с которым Герцль, вопреки всему этому, выступил на Всемирном конгрессе всего неделю спустя — по меньшей мере, в части, касающейся договоренностей с Плеве и якобы неизбежного заступничества России перед Турцией, — могут иметься два объяснения. Во-первых, Герцлю надо было оправдать перед оппонентами поездку в Россию и, главное, переговоры с "палачом Кишинева". Во-вторых, и это вытекает из его дальнейшей переписки с Плеве, Герцль до самого конца надеялся на успех начатых им в Петербурге переговоров.

Если посмотреть на вещи честно и непредвзято, Герцль потерпел поражение по всему кругу своих дипломатических усилий. Нигде ему не удалось убедить представителей великих держав в том, что их собственные интересы совпадают с интересами еврейского народа в форме политического сионизма, который создал, пропагандировал и олицетворял сам Герцль. У тогдашних властителей не хватило политической и философской зрелости, а может быть, для подобного поворота событий еще просто не пришло время. Не исключено, что и сам Герцль — человек исключительный и в силу своей исключительности склонный прислушиваться, в первую очередь, к самому себе — кое-что не так понял, не так истолковал, а значит, и не вполне правильные выводы сделал. Разумеется, это ни в коей мере не умаляет ни общего смысла его деятельности, ни достигнутых им впечатляю-

щих результатов, как это порой случается с другими великими мечтателями, так и остающимися в плену у несбыточных видений. Подлинные пророки — во фраке или в библейском одеянии — обречены на то, чтобы не доживать до исполнения собственных прорицаний.

И разве не имеют расширительного смысла строки, сложенные Бертольтом Брехтом о великом Сократе:

Пусть понял мир, чуть ночь пришла,
Всю мудрость предсказания,
Да только участь тяжела
Того, кто знал заранее!

Геннадий Каган

ПРОРОК ВО ФРАКЕ

Редактор В. Топоров. Художественный редактор А. Веселов. Корректор Е. Дружинина. Компьютерная верстка О. Леоновой.

Лицензия ИД № 05808 от 10.09.01. Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953900 – художественная литература.

Подписано в печать 17.01.05. Формат 60x88 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная "Архбум". Гарнитура Garamond. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9. Тираж 1000 экз. Заказ 1361.

ООО "Издательство "Лимбус Пресс". 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14. Тел. 112-6706. Отдел маркетинга: тел. 340-09-63, факс 112-67-06. Тел./факс в Москве: (095) 291-9605.

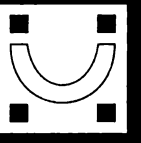
Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО "Типография Правда 1906". 195299 Санкт-Петербург, Киришская ул., д. 2

ONE MUSEUM

Jewish Museum
Dorothcergasse 11

TWO HOUSES

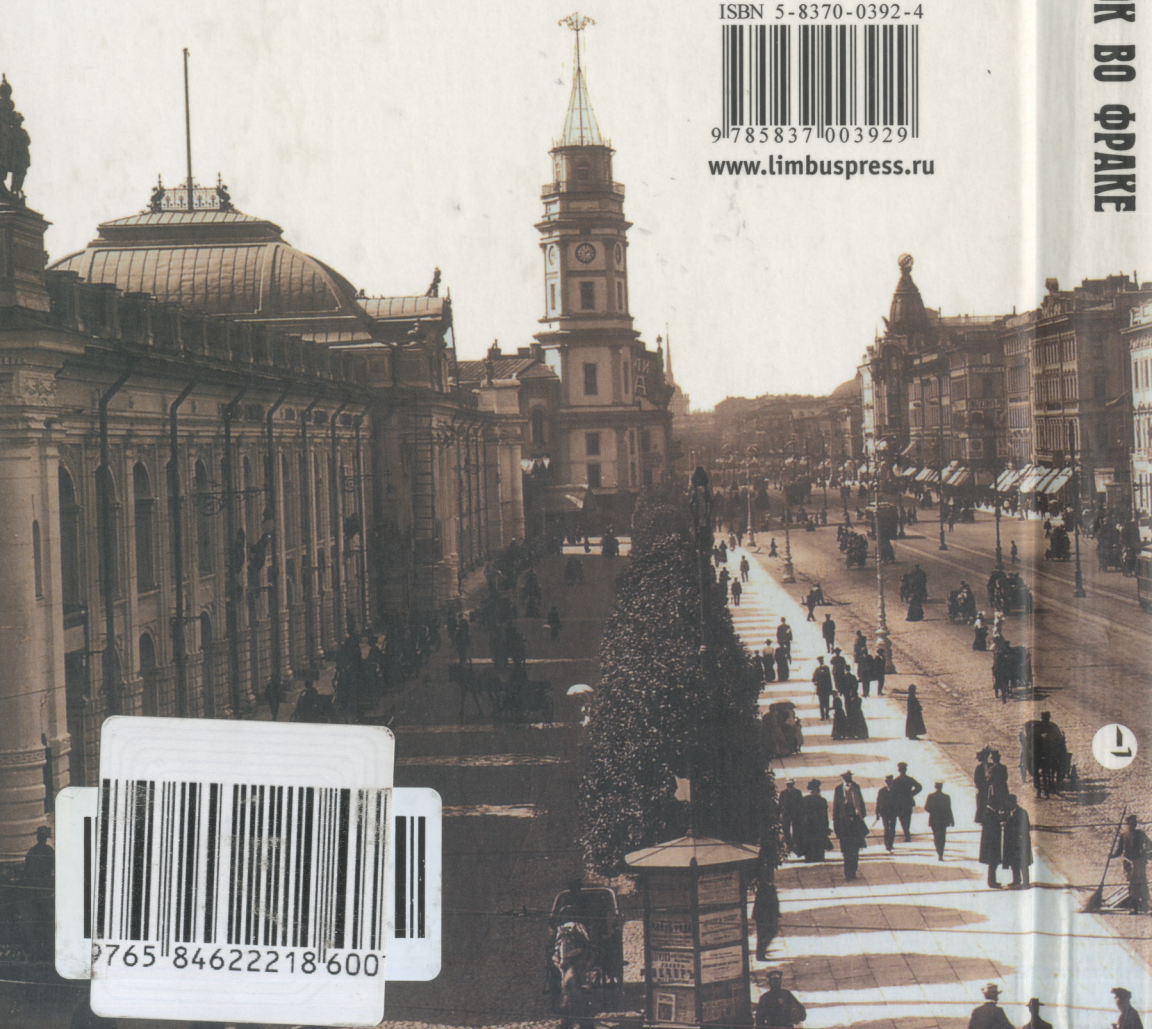
Museum Judenplatz
Judenplatz 8



Jewish
Museum
Vienna

Завершись "русская миссия" Теодора Герцля в 1903 году по-другому – и, не исключено, изменила бы ход вся мировая история XX века.

ISBN 5-8370-0392-4

www.limbuspress.ru

Геннадий Каган **ПРОРОК ВО ФРАКЕ**